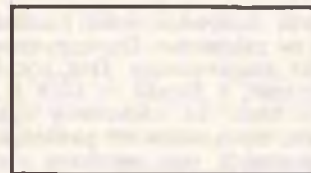


Б.Кравченко

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ**

РАССКАЗЫ
ПОВЕСТЬ



ПЕТРОЗАВОДСК «КАРЕЛИЯ» 1989

*Другу моему Станиславу Уманцу
с любовью и благодарностью*

Кравченко Б.

К 77 Дополнительное расследование: Рассказы,
повесть. — Петрозаводск, Карелия, 1989. —
256 с.

ISBN 5-7545-0122-6

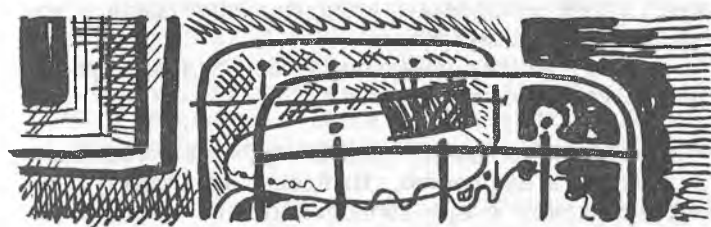
В сборник включены новые рассказы автора и повесть «Как ты захочешь». Герои произведений Б. Кравченко — наши современники. Они показаны в нелегких трудовых буднях, в борьбе со злом и неправдой. Есть среди них и люди со сломанной судьбой, одинокие, опустившиеся, страдающие от равнодушия и бессердечности окружающих, есть жестокие рвачи, нравственно деградирующие личности.

К 4702010201—081
М127(03)—89—28—89

84P74

ISBN 5-7545-0122-6

© «Карелия», 1989



РАЗНЫЕ ЛЮДИ

В прошлом году, летом, оставшиеся дни отпуска я решил провести в деревне, присмотренной во время одной из зимних рыбалок.

Находилась деревня в нескольких десятках километров от города, в стороне от центральной дороги, на берегу небольшого озера с удивительно вкусной водой.

Собрался — и уже на следующий день вечером ходил от избы к избе в поисках пристанища под любопытными взглядами местных жителей. Везде, куда я заходил, меня внимательно выслушивали, согласно кивали, но, когда я замолкал, вежливо отказывали, ссылаясь кто на неожиданный приезд родственников, кто на их скорый приезд, и советовали сходить туда-то, к тому-то... Время шло. Я наведалься уже во многие избы, чертовски устал от жары, от тяжести не в меру набитого рюкзака и уже подумывал вернуться обратно, когда хозяин очередной избы, отказав, уверенно посоветовал:

— Иди к Бугаеву. Один живет. Примет! — Скривил тонкую полоску губ в непонятной усмешке, добавил: — Он таких принимает...

Я хотел спросить, что он имеет в виду под словом «таких», но, взглянув в его маленькие колю-

чие глазки, прилипчиво оглядывающие меня с ног до головы, промолчал.

— Ну так как, пойдешь? — спросил он, прощупывая взглядом мой рюкзак.

— Да.

— Тогда слушай, — уронил он, как кувалду, — я повторять не люблю. Выйдешь за калитку, повернись лицом в противоположную от въезда в деревню сторону, отсчитай, начиная с моей, четыре избы, и — желаю здравствовать!

Я покосился на стоящую рядом с крыльцом конуру, из которой, молча скаля зубы, на меня смотрела рыжая собачья морда, спросил:

— А у него собака есть?

— Боишься, что ли? — насмешливо ухмыльнулся он.

Я пожал плечами:

— Да как вам сказать... Не то чтобы боюсь...

— Одним словом: я не трус, но я боюсь! — бесцеремонно перебил он. — Не бойся. У него нет. Давай двигай! — И, тяжело ступая, скрылся за дверью.

Пес, гремя цепью по туго натянутой проволоке, хрипя от бессилия и злобы, проводил меня со двора.

Я отсчитал нужное количество изб и остановился перед распахнутой калиткой, за которой посреди небольшого, заросшего сорняками двора, словно с какой-то непонятной робостью примостилась огромная изба. На ее крыльце, в светло-зеленой рубашке, армейском галифе, в тапочках, сидел мужик.

— Добрый вечер, хозяин! — окликнул я.

Мужчина поднялся, неторопливо подошел. Он был лет на десять старше меня и куда выше ростом.

— Здравствуй, дружище, — просто сказал он.

— Комнатки у тебя не найдется? — спросил я, легко, как и он, говоря с ним на «ты».

— А у тебя закурить? — в тон спросил он.

Я с готовностью достал и протянул папиросы.

Он аккуратно вытянул одну, старательно дунул в мундштук, сказал:

— Лень при такой жаре в магазин через всю деревню топать, да и приустал, — повел плечами, — малость! — Прикурил, кивнул лохматой головой в сторону избы: — Пошли.

В избе было прохладно.

Переступив порог, я с огромным удовольствием снял рюкзак, стянул сапоги, снял и повесил на один из вбитых в стену гвоздей пиджак и посмотрел в проем распахнутой двери.

— Эта тебе подойдет? — спросил он, кивнув в сторону небольшой комнаты.

Оставляя на прохладном полу влажные следы, я подошел к ее порогу. Комната была светлой, уютной. Окно смотрело на лес и высокое небо. Кровать. Стул.

— Конечно.

— Тогда устраивайся! — Он хлопнул меня по спине. — Чай пить будешь?

— Ты еще спрашиваешь?

— Вот и прекрасно, — улыбнулся он, награждая свое лицо множеством морщин. Шагнул в сторону, спросил: — Да! А как тебя зовут?

Я сказал.

— А меня Родионом. — Он протянул руку. Ладонь у него была длинной и крепкой, как корневище.

Я умылся в сенях из-под умывальника, достал из рюкзака бутылку водки, первую подвернувшуюся банку консервов и пошел на кухню.

Кухонька была небольшой. Половину ее занимала русская печь. Простоватое окно смотрело на озеро. Родион, морща белесые брови, накрывал на стол.

— Садись. Я сейчас,—деловито сказал он.— Э-э, а это давай сюда! Консервы нам и завтра пригодятся. Ишь ты!—Он покачал головой.— Лосось! Кучеряво живешь!

— Да уж!—сказал я.

Немного погодя он наполнил стаканы, посмотрел свой на свет, понюхал:

— Бр-р! Ну, ради знакомства!

Мы выпили.

Некоторое время сидели молча. По небрежности расположенных в избе вещей, по пыли и еще бог знает по каким признакам я понял, что жены у него нет.

— А что? Вроде бы и ничего!—весело заговорил он, откидываясь на спинку стула.— У меня там,—он ткнул пальцем в живот,—словно кто лампочку зажег, а в голове этакая сладость...

Он пил чай, держа кружку обеими руками и глядя в окно. А за окном, в отдалении, неслышно плескалось озеро. На темных, коротко вдающихся в озеро мостках удили рыбу босоногие мальчишки.

— Ты кем работаешь?—неожиданно спросил он.

— Оператором-машинистом котельной.

— Нудная работа...—то ли спросил, то ли подтвердил он.

— Нудная.

— А я вот плотником.—Он поставил стакан на стол.

— А ты чего не женат?—спросил я.

— Был. Хватит,—обрезал он.

— Ушла?

— Выгнал.

— Чего так?

— Да уж так,—неохотно ответил он.— Пошли на улицу.

Мы устроились на самой нижней ступеньке крыльца. Родион сидел вытянув ноги. С озера, отлакированного безветрием и закатом, тянуло прохладой. Нет-нет и наплывали запахи сомлевших от дневной жары бурьяна, крапивы, леса. Деревня засыпала. Где-то вдалеке на пластинке кончалась хорошая, грустная песня, рядом беззлобно переругивались две женщины.

Родион смотрел на озеро и молчал.

— О чем задумался?—спросил я.

— О разном,—негромко отозвался он.— Ну хотя бы о том, что вода в озере глубокая, что она вязкая... Надо о чем-то думать...

Я с ним молча согласился. Действительно, ведь для этого и живем.

— Раз живем,—неожиданно уронил он.

— Раз.

— А больше и не надо. Повторяться начнем.

— Наверное,—подумав, согласился я.

Замолчали. Сидели, слушали тишину, смотрели на далекий и добрый свет рыбацкого костерка. И вдруг безжалостно шархнуло:

В роще моей пел соловей,
Не давал покоя он теще моей!

Родион поморщился:

— Петька Штопор колобродит.

По дороге, выписывая немыслимые кренделя, передвигался низкорослый мужик, босой, в закатанных выше колен штанах, в пиджаке на голое тело.

— Родион! Друг ты мой ненастный! — заорал он, поравнявшись с калиткой. — А я пьян! — откровенно признался он. Его поволокло к забору. Семеня ногами, едва не падая, он все же вцепился в него руками, пьяно рассмеялся: — Во! Чуть не упал!

Родион насмешливо улыбнулся. Спросил:

— На какие шиши ты сегодня ряху налил?

— А за «ряху» можно и по соплям! Имею право... Я счас... — Штопор сделал попытку передвинуться в нашу сторону, но не сумел. Великодушно махнул рукой: — Ладно! Это не к спеху. Это я тебе и завтра... А счас удовлетворяю твое законное любопытство: сшиб халтуру... Гроб я сколотил! Во!

Родион взглянул на меня, усмехнулся:

— Какой еще гроб?

— Во-о дает! — Штопор воткнул глаза в меня, перевел на Родиона. — Гроба не знает! Столько прожил, а не знает. А простой! Человека туды — раз! — Резко махнул рукой. — Крышкой сверху — два! И — аминь! А гроб, — он поднял палец, — он денег стоит! Это тебе не курятник сколотить...

Родион провел рукой по лицу, устало спросил:

— Кому аминь-то?

— Старушке... Оттуда... — Штопор махнул рукой за спину. — Она нам еще хлеба тогда давала. Помнишь?

Кадык у Родиона прыгнул.

— Маленькой такой, доброй, неприкаянной, как жизнь моя непутевая! — продолжал Штопор. — Неожиданно рассмеялся. — Вот какие у меня мысли в черепашке колобродят... А ты говорил! Оказывается, есть еще масло в голове. Выпить хочешь? Я счас! — Он стал рыться по карманам. Из одного из них сиротливо выпал гривенник. — Где ж они?! —

Он тупо уставился на скудно блестящую в пыли монету. — Были ж! Я точно знаю. Рублями... Мне ее сын давал... Он их еще два раза пересчитывал...

Его продолговатое лицо выражало такое искреннее изумление, что мы с Родионом невольно рассмеялись.

— Я его, ненужного, ищу, а он вот где! — прорезало тишину большое, тоскливое.

К калитке подошла женщина, низкорослая, с угловатыми чертами лица.

— Петя, пошли домой... Знал бы ты, как я устала! — Она ласково провела рукой по его голове, круглой, как футбольный мяч.

— Я счас... Я... — Штопор потряс головой и, явно держась на одних нервах, не качаясь, двинулся от калитки.

— Вы уж извините его! — попросила женщина.

— Ничего! — сказал Родион. — Бывает.

— Ты же обещал, что больше не будешь, — улышали мы ее голос. — Ты же обещал...

И голос Штопора:

— Света... Понимаешь... Гроб я человеку сколотил... Гроб... Ты прости! Хотя не надо... Не прощай! Люби меня только, дурака непролазного! Я же... Ты же знаешь...

— Знаю, Петя. Наказание ты мое незаслуженное...

Голоса затихли.

— Странно... — задумчиво протянул Родион. — Жизнь. Любовь. Тут, у нас... — Он повернулся ко мне. — Два года назад мужик помер. Что-то с сердцем. Так жена ему памятник поставила.

— Любила значит, — бросил я.

Он усмехнулся, протянул:

— Любила-а... Так любила, что, пока живой был, тапочками по лицу хлестала. Вот так! Ну те-

перь-то ей такого не предвидится! Где она еще такого дурака найдет?

Мы выкурили еще по одной папиресе и пошли спать.

Я долго не мог заснуть. Лежал, слушал, как в соседней комнате ходит Родион, смотрел в окно на небо, в котором ласково жмурились звезды.

Утром, разбуженный Родионом, ворча, зевая, натянул брюки, взял полотенце и зашлепал в сени.

Воды ни в умывальнике, ни в ведрах не было.

— Слушай! — крикнул я, приоткрывая дверь в избу. — Нет воды..

— Так сходи, — отозвался Родион. — За чем дело стало? Возьми ведра — и топ-топ. Прогуляешься, а заодно и умоешься.

Я неохотно взял два ведра и, как был, босиком, без рубашки, вышел из избы.

Шедро, словно из ушата, меня облило утренней прохладой. Я передернул плечами и, вдруг повеселев, поглядывая на чистое небо, на озеро с обрывающейся невдалеке от берега золотистой дорожкой, бойко зашагал. Тропинка, скатившаяся с темного полотна дороги в зелень откоса, была узкой и плотной. Почти у самого берега притулилась к сосне небольшая банька, возле нее с топором в руке стоял старик роста, как говорится, метр с кепкой.

Приминяя холодную рассыпчатость песка, буравя ногами воду, я вошел в озеро, набрал воды, умылся и затопал обратно.

Когда я вошел в кухню, Родион уже сидел за накрытым столом.

— На рыбалку пойдем? — спросил я за чаем.

— Во-первых, мне сейчас на работу, — поморщился он. — Во-вторых, какая сейчас к черту ры-

балка? Пустое дело. На вечернюю или на утреннюю — другое дело. Вот что... — Он потер узкий подбородок: — Пойдем на вечернюю. Я тебе такое место покажу! Окуни — во! — Он развел руками. Взглянул на часы. — Мне пора.

— Счастливо.

Родион ушел. Я убрал со стола, полистал страницы висящего на стене календаря и пошел копать червей.

Лопату нашел в сенях, консервную банку — у сараюхи. Копал в куче старого мусора. Червей было — уйма; холодные, тугие, они так и лезли на белый свет.

— А вы кто такой? — услышал я за спиной серьезный детский голос.

Обернулся. За забором, отделявшим наш двор от соседнего, прижавшись лицом к штакетинам, стояла девчушка — босоногая, светловолосая, в стареньком платьице. Она смотрела не мигая, строго. На вид ей было года три-четыре.

— А ты кто такая? — хмуря брови, нарочито строго спросил я

— Я — девочка.

— Ну а я — дяденька.

Она смешно наморщила лоб.

— А какой?

— Как это — какой? — Я пожал плечами и, не выдержав, улыбнулся. — Хороший.

— Хороших дяденек не бывает! — решительно произнесла она. — Мне мама сказала.

— Это почему же?! — удивился я, приседая на корточки.

— Мама сказала! — Она упрямо выпятила губы.

— Ну-у, — протянул я, — если мама сказала, тогда... — И развел руками.

— Анюта-а! — раздался тревожный женский голос.

— Тебя мама зовет, — сказал я.

Она кивнула и побежала.

— А кто «до свидания» говорить будет? — строго спросил я.

— Я «до свидания» только хорошим дяденькам говорю. Вот! — отозвалась она, обернувшись.

Я спрятал банку с червями в тень и вернулся в избу. Она встретила меня прохладой и тишиной, тиканьем часов. Сварив обед, я вспомнил, что курево на исходе, и вышел на улицу.

День набирал силу. Солнце казалось маленьким, но было жарким. Над росстанью расплавленным стеклом висело марево. Слышался приглушенный рокот тракторов.

Я неспешно, поглядывая по сторонам, шел мимо изб, отвечал на приветливое «здравствуйте» незнакомых мне людей, как вдруг услышал:

— А как вас зовут?

У калитки, мимо которой я проходил, стоял высоченный, пестро одетый парень лет двадцати с маленькой лохматой собачонкой на руках.

Я растерянно оглянулся, желая узнать, у кого это он спросил, но кроме меня поблизости никого не было. Тогда, помедлив мгновение, я ответил:

— Валерием.

— А меня Тюлей. Меня все так зовут. А собачку мою — Чапой.

Собачонка, высунув розовый язык, жадно глотала воздух.

— Очень приятно! — пробормотал я.

— Можно я с вами погуляю? — Он склонил давно не чесанную голову к плечу.

«Скажу — нет, — подумал я, взглянув в его гла-

за, в которых вместились все сразу: доверчивость, страх, уверенность и боязнь, ум и дурость и еще что-то такое непонятное, от чего мне стало просто не по себе, — как это он воспримет? Сграбастает своими ручищами — и поминай как звали».

Он шел рядом со мной с таким гордым видом, словно делал что-то очень важное. Шел молча. Я его тоже ни о чем не спрашивал, хотя его молчание меня изрядно беспокоило.

— А что ты сейчас во дворе делал? — бухнул я первое, что пришло на ум.

— Слушал, как цветы растут, — просто ответил он. — Я каждый день слушаю. — Он улыбнулся и доверчиво посмотрел на меня. — Они тихо-тихо растут.

Он хотел еще что-то сказать, но неожиданно шархнулся за мою спину, схватил за рукав.

— Ты чего?! — испугался я.

— Во-он идет! — Тюля показал на шедшего нам навстречу мужчину. Я взглянул и узнал в нем человека, давшего мне адрес Родиона.

— Ну и что?

— Он Чапу убьет... Он сказал! — В глазах Тюли был неподдельный страх.

— Здорво! — громко сказал мужик, подойдя. Тюля больно вцепился в мою руку. — Ну как, устроился?

— Устроился.

Он мотнул головой, спросил:

— А этот чего с тобой?

— Гуляет. А что?

— Да так, ничего, — хмыкнул он. — А ты не бойшься, что он тебя по голове какой-нибудь штуковинкой звезданет? С него ведь взятки гладки!

— Нет! — резко ответил я. — Не боюсь.

— Собак боишься, а дураков нет. Похвально.

А надо бы наоборот. Ну гуляйте! Черт! Моя прется!

Со стороны магазина шла дородная женщина в ярком платье, лакированных туфлях.

— Чего тебе? — хмуро спросил он, не дав жене вымолвить слова.

— Отцу деньги посылать будем?

— Он что — просил?

— Нет.

— Попросит — вышлем! — раздраженно проговорил он. — У тебя все? Тогда иди домой.

Женщина обиженно поджала губы, дернула плечами и не оглядываясь ушла. Он — следом.

Тюля опустил собачонку на землю, глубоко вздохнул и, сгорбившись, медленно пошел прочь.

В магазине было прохладно. Пахло печеньем, кожей. У прилавка, глядя вверх сидящей на табуретке продавщицы, стоял мужчина — низкорослый, хорошо одетый.

— Ну дай, Вера! — выпрашивал он у нее, что — нетрудно было догадаться.

Продавщица сунула в ярко напмаженный роток карамельку, молча положила на прилавок раскрытую ладонь.

— Да отдам я тебе полтинник. Завтра же и отдам. День рождения у меня. Возраст Христа.

— Вот у Христа и спрашивай! — Она выплонула конфетку, обернулась ко мне: — Вам чего?

— Папирос.

— Совсем нет совести у человека, — сказала она, протягивая мне «Беломор». — Уже добрых полчаса стоит кланчит

Мужчина поморщился.

— Что ты из себя этаку фрикадельку корчишь?! А?! Как на коровнике работала, была баба как баба, а как мало-мальскую должность по-

лучила — хвост трубой! Правильно старики говорят, что если из пана пан, то это ничего, но если из работяги пан — дело хана! Да что с тобой говорить! — Махнул рукой и вышел.

Я распахал папиросы по карманам и последовал за ним. Мужчина сидел на завалине магазина, курил.

— Слушай, друг! Выручи! Дай до завтра этот трекаятый полтинник... Вот спасибо... Подожди меня, я сейчас...

— А говоришь — нет, — услышал я ехидный голос продавщицы. — Небось хотел на вторую сэкономить!

— Человек дал.

— Так я и поверила! За хорошие глазки, что ли?

— Я думал, ты человек, а ты...

— Ну что я, что?! — взвизгнула продавщица. — Договаривай!

— А ну тебя!

Снова сев на завалину, мужчина зло сплюнул.

— День рождения, а ходишь побираешься... И это при родной жене! Чтоб ей пусто было!

— Поругались?

— Вчера... — Он махнул рукой. — Прихожу, понимаешь, после работы домой, а она мне: давай купим корову. Покупай, говорю, но учти, что горб гнуть ради этого куска мяса я не буду. Она в крик: люди по две держат! Гришанов, например. А я ей: плевать я хотел на этого кулака! Ну слово за слово... А тут еще тесть с тещей приперлись. Разве отбодается? Короче, послал я кое-куда тестя, хлопнул дверью — и на улицу от греха подальше. Так что ты думаешь? Они на меня заявление участковому накатали! — Он весело рассмеялся. — Иду сейчас в магазин, а участковый меня пальцем

к себе подзывает, спрашивает, посылал ли я своего теста туда, куда Макар телят не гонял. Я ему: «Нет!» Он мне — заявление под нос! Пришлось выложить все, как было. Послал, говорю, но с предложением: иди ты, говорю, тещушка, туда-то и туда-то, если хочешь. Видно, захотел, раз заявление накатал! Дело-то его — идти или не идти. Участковый на меня глаза вытаращил. Отпустил с миром. Ты у кого остановился?

— У Родиона.

— Знаю. Ну, счастливо! — Он протянул руку. — А полтинник я сегодня-завтра занесу.

— Да ладно! — отмахнулся я. — Невелики деньги!

— Невелики, — согласился он. — А иной раз копейки не хватит — и закукарекаешь... Да и не люблю я в должниках быть...

Едва я успел вернуться и накрыть на стол, как пришел Родион.

— Оценим! — весело сказал он, снимая крышку с кастрюли. Шумно потянул носом, подмигнул: — А вроде бы и ничего...

Он ел неторопливо.

— Попробую после обеда отпроситься, — сказал он. — Скажу, что отработаю потом.

— Тебе видней.

— Червей накопал?

— Кило.

— Ну и порядок.

Мы пили чай, когда слышались легкие быстрые шаги, негромкий стук в дверь и на пороге появилась миловидная женщина в будничном платье, косынке. Видимо, она не ожидала увидеть меня, потому что смешалась. Я посмотрел на Родиона и с удивлением увидел, что он густо покраснел, без дела стал переставлять посуду на столе,

— Я к вам с просьбой, Родион Васильевич! — смущенно сказала женщина. — Мне бы ведерочка эмалированного...

Родион молча вышел в сени. Женщина — следом. Слышались негромкие голоса, хлопок входной двери.

— Соседка? — поинтересовался я, когда он сел за стол.

— Соседка.

— Привлекательная женщина.

— Да уж...

Я улыбнулся.

— А я сегодня с ее дочкой разговаривал. Анютой звать. Серьезная девчушка! Она «до свидания» только хорошим дяденькам говорит!

Родион забарабанил пальцами по столу, хотел что-то сказать, но передумал.

— Как ее зовут? — Я кивнул в сторону двери.

— Марией, — уронил он и, тряхнув головой: — Ладно, пойду я. А ты пока лески, крючки приготовь. Привез с собой чего?

— Хватает...

Вернулся Родион не скоро, почти в самом конце рабочего дня.

— Еле вырвался! — раздраженно сказал он, шумно усаживаясь за стол. — И работы нет, а сиди, отбывай положенное время. Чтоб их! Ну ты готов?

— Как штык!

Он принес из сеней трехлитровую банку молока, поставил на стол, хмуро уронил:

— Еще один с нами напросился.

— Кто такой?

— Гришанов. Дрянь мужик!

— Так отказал бы.

— Да, знаешь, неловко как-то...

Мы попили молока и пошли.

Гришанов уже ждал нас — томился на борту лодки. Это оказался тот самый мужик, который направил меня к Родиону.

— А я уж думал, надули, — улыбнулся он. — Жду-пожду...

— Устал, что ли? — пробормотал Родион, укладывая взятое в нос лодки, и, покосившись на вещевой мешок Гришанова, спросил: — Сети?

— Они самые.

— С сетями не поедешь!

— Это почему же? — Гришанов сощурился.

— А потому, что я не хочу! Мы отдыхать едем, а не мощну набивать. Да и, между прочим, у тебя своя лодка есть. Садись и кати.

Я думал, что Гришанов обидится, но он, улыбаясь, вскинул мешок на плечо и весело бросил нам:

— Ну что ж, можно и на своей!

— Неудобно как-то. Обещал же, — сказал я, когда он ушел.

— Неудобно только штаны через голову одевать! — буркнул Родион. — Давай налегай! Взяли!

Мы столкнули лодку на воду, Родион сел за гребца. Вода, взбудораженная веслами, мне казалась тяжелой.

— Далеко поедем?

— Во-он к тому островку! — Родион мотнул головой.

Островок был далековато и в дымке вырисовывался сказочным старинным замком.

— Прилично до него.

— Так нас же двое...

Некоторое время плыли молча. Родион греб, о чем-то задумавшись.

— Да! — вспомнил я. — Тут к тебе заходил какой-то Вадим.

Родион молча кивнул, горько усмехнулся.

— Ты чего? — Я вопросительно посмотрел на него.

— Он скоро умрет, — глухо уронил он. — Из-за этого и с женой развелся. Она не знает. Думает, что другую полюбил. И что самое странное — совсем не пьет. Я б на его месте... Все ж не так страшно...

— Но откуда он знает, что скоро умрет? — ошарашенно спросил я.

— Друг у него старшим врачом в госпитале работает. Сказал.

— Но это же бесчеловечно! — воскликнул я. — Как можно?!

— Да что ты говоришь?! — язвительно протянул Родион. — Человечно — бесчеловечно... Кто эту самую грань знает? Кто ее устанавливал? Ты? Я? Гуманность... — Он отложил весла, закурил. — По-твоему, гуманно — если оставляют жизнь ребенку, родившемуся уродом?

— Конечно! — Я пожал плечами. — Все жить хотят.

— Это ты верно заметил: жить все хотят. И ой как хотят! Но весь вопрос в том, как он жить будет? Будет ли счастлив? Не будет ли проклинать тех, кто подарил, оставил ему эту самую жизнь? А? Ты думаешь, что если он родился хромым или кривошеим, то ему будет хорошо жить? Я лично в этом очень сомневаюсь. Как это ни жестоко утверждать, но даже любовь он вряд ли найдет. Внешний вид, как тебе известно, первая предпосылка любви. И девушке или парню совсем не безразлично, с кем они идут по улице.

Я молчал.

— Иной раз жестокость куда лучше гуманности — дутый гуманнысти... Садись за весла!

Мы гребли, гребли, а остров, казалось, не приближался.

Вечерело. Солнце садилось за деревней. Звучно плескалась рыба, журчала за бортом вода, и золотистая дорожка тянулась к острову.

— Чтобы жить, призвание нужно,— неожиданно уронил Родион.

— Призвание? — удивленно переспросил я. — Какое еще призвание?

— Не знаю. — Он пожал плечами. — Знаю одно, что нужно.

— В чем же оно, по-твоему, заключается? — усмехнулся я.

— Я же сказал, что не знаю. Давай весла! — И, резко гребнув: — В этой жизни сам черт не разберется! Иной раз человеку хорошо сделаешь — обижается, иной раз вроде бы плохо — доволен. Приспосабливаться — противно. А жить надо.

— Наверное, надо быть самим собой, — неуверенно сказал я.

— Самим собой? — переспросил он. — Может быть. Гришанов вот тоже — сам собой. И Вадим, и Петька Штопор, и Мария... Да-а... Впрочем, какого лучшего нас с тобой на эту тему потянуло? Главное, что честно живем... Подъезжаем!

Мы вышли на берег, собрали сушняк для костра, приготовили удочки, донки и поехали рыбачить.

Остров, немой, безлюдный, казался выкованным из разноцветного металла. Вместо того чтобы внимательно следить за поплавками, я нет-нет и устремлял на него взор.

Клевало здорово. Окунь брал жадно и был теплый и крепкий.

— На уху надергали, — сказал Родион. — А на завтра — утром еще натаскаем.

— Хватит так хватит...

Мы разожгли костерок, сварили уху, поели, и, разомлевшие, прилегли рядом с костерком. Он горел без всякого энтузиазма.

Солнце зашло. Темнело. На гладь воды легли полосы тумана. Зажглись окна в избах на дальнем берегу. И вдруг в тишине послышалась песня, мягкая, ласковая и такая нужная в этот вечер. Пел мальчишка.

Над речкой Олонкой калина цветет,
Над речкой Олонкой девчонка живет,
Глаза — словно звезды и брови дугой,
Но нравлюсь девчонке не я, а другой...

— Слышала ли эту песню девчонка? А если слышала, поняла ли, что для нее пели? — тихо сказал Родион. — Хорошо бы, если поняла.

— Да... Хорошо бы...

Поднялся ветерок. Деревья, кусты за нашими спинами тревожно зашептались. По воде пробежала рябь, смахивая туман.

— Вдохнул ветер, — сказал Родион. — Спросонья.

— Кто — спросонья? — не понял я.

— Да ветерок! Кто же еще? Давай вздремнем, а то на утренней вместо рыбы сами клевать будем.

Мы устроились поудобней и уже собрались прикорнуть, как в тишине раздался шум лодочного мотора. Он нарастал, и вскоре из сумрака вынырнула лодка.

— Гришанов прется, — сказал Родион, неохотно приподнимаясь.

— Ну и пускай прется! Нам-то что? — пробурчал я.

— А я думаю, дай на костерок загляну, — громко сказал Гришанов, выбираясь на берег. — Пря-

миком от самой деревни. Сидел в избе, сидел — скука, жена зудит. Попалось создание! То одно ей не так, то другое. А сегодня, видите ли, потребовалось денег отцу выслать. А на кой ему деньги, если давно на пенсии? Уху варили?

— Да,— неохотно отозвался Родион, глядя в озеро.

— Не осталось?

— Пойди да посмотри.

— Осталось! — удовлетворенно уронил Гришанов. — Давно ухи не ел...

Мы с Родионом молчали.

— Родиоша! — осторожно заговорил Гришанов, когда поел ухи. — Ну как насчет огорода?

— Я же сказал — нет!

— Так пропадает же земля!

— А тебе что? Свербит?

— Жалко?

— Сам огород посажу.

— Да ведь не посадишь! Который год это говоришь.

— Ну и не посажу. Так тебе все равно не дам.

— Почему?

— А потому, что ты, сволочь, потом эту картошку на базаре по рублю килограмм продавать будешь!

— Ну и что?! — удивился Гришанов. — Люди ж берут?

— Пользуешься тем, что у них нет?

— А почему бы и не попользоваться? — Гришанов дернул плечами. — Я же их не заставляю покупать у меня! Государство вон тоже за первые огурцы, помидоры по тройку, а то и больше за килограмм дерет. Ему, значит, можно, а мне нет?

— То государство! Эти деньги для пользы идут.

— У меня тоже для пользы.

— Это какая же от твоих денег польза? — Родион всем телом повернулся в его сторону.

— Спокойствие.

— И много их тебе надо для полного спокойствия?

— Пока не прикидывал... — Гришанов поморщился. — Да и что ты, Родион, чужие деньги считаешь? Завидки берут, что ли?

— А по морде хочешь? — процедил Родион.

— Нет. Не хочу.

— А жаль! С каким бы я тебе удовольствием вмазал!

— А ты вмажь! — Гришанов усмехнулся. — А там посмотрим...

— Сдачи дашь, что ли?

— К чему такая глупость? К участковому — и тебе срок! У меня лодка с мотором — долго ли съездить?

— А ну уматывай отсюда! — Родион резко вскочил.

— Можно и умотать! — Гришанов неторопливо встал и неспешно пошел к лодке.

Я думал, что он что-нибудь скажет, выкрикнет, но он отъехал от берега, рванул стартер и умчался.

— Живут же гады! — процедил Родион, плюхаясь на землю. — И ведь не зацепиться за него! Все делает своими руками, все по закону, да еще и на Доске почета!

— Серьезно?!

— Seriously. Работает он хорошо: нет прогулов, норму выполняет, с начальством никогда не ругается. А что еще надо? Тьфу! Теперь не заснуть...

На утренней зорьке мы наловили рыбы и поплыли обратно.

— Гроза будет,— заметил Родион, когда мы причадили.— Душно.

— Да и не мешало бы.

— И то верно.— Он согласно кивнул.— Пускай прольет немного.

Мы уже подходили к его избе, когда он неожиданно остановился, спросил:

— Выручишь?

— В чем?

— Понимаешь, хочу Машу в гости пригласить. В общем, нравится она мне крепко. Пойти к ней вот так, просто... Пускай у тебя сегодня будет день рождения?— И, видя, что я молчу, заторопился:— Я зайду к ней, скажу, что у тебя именины, что ты приглашаешь. Она не откажется. Посидим, поговорим. А?!

— Давай...— Я пожал плечами.— День рождения так день рождения!

— Вот спасибо!— Он протянул пять рублей.— Купи чего знаешь. Шоколадку купи или еще что...

— Ладно.

— Только ты побыстрей. А я к ней пойду...

В магазине, кроме продавщицы, никого не было. Когда я вошел, она сидела спиной к двери, плечи у нее вздрагивали. Я кашлянул. Она обернулась, торопливо прижала платок к глазам и, не глядя на меня, тихо спросила:

— Что вам?

— Шампанского, шоколадку и вот этого пупси-ка в ванночке.

— Любовь заимели?— преувеличенно весело спросила она.

— Заимел,— улыбнулся я.

— Быстро вы! Только приехали— и уже!

— Так года ж идут!— Я развел руками.

— И то правда— идут. Словно гонит их кто...— вздохнула она, протягивая мне то, что я просил.

— Спасибо.

У порога я обернулся. Она снова прижала платок к глазам.

Родиона дома не было. Я поставил покупки на стол и вышел на крыльцо.

Потемнело. Наступила какая-то зловещая тишина, и вдруг свирепый порыв ветра подхватил и понес по улице густое облако пыли, согнул в дугу бурьян, саданул где-то незапертой калиткой и умчался. Снова наступила гнетущая тишина, и в этой тишине по пыльной дороге, словно пули, зацелкали тяжелые капли, выбивая дымные облачка. Чаще, чаще— и вот уже сплошная стена воды скрыла озеро. Где-то далеко сбоку полыхнула молния и послышалось приглушенное ворчание грома. Потом все ближе, и вот уже над самой головой, освещая полнеба, рванулась голубая змея и раздался злобный, угрожающий перекал грома, словно тронулся с места длинный состав. Мне стало не по себе, и я уже было собрался вернуться в избу, как увидел Тюлю. Вернее, сначала услышал жалобно зовущее «Чапа! Чапа!», а затем заметил и его согнутую мокрую фигуру, бледное лицо, по которому стекала вода, и глаза— удивленные, испуганные.

— Вы Чапу мою не видели?— спросил он, подойдя к калитке.— Чапу мою? Маленькую такую... Она хорошая! Я ее уже давно ищу...

Загрохотало. Тюля схватился руками за голову, присел и, когда раскаты затихли, снова заговорил:

— Чапу мою... Ее может громом убить...

— Нет. Не видел. Да ты нерасстраивайся. Вернется Чапа,— как можно уверенней сказал я.

Но он не слушал. Подошел к избе Марии и завел снова:

— Чапа! Чапа!

И столько отчаяния было в его голосе, что я, бог знает отчего, выругался. Выругался зло, яростно, так, как не ругался еще ни разу в жизни.

Гроза стихла внезапно. Выглянуло солнце, и небо стало голубым, вымытым до ясности. С крыш срывались увесистые, наполненные солнцем капли и упруго чмокали разлегшиеся у завалины лужи. Над дорогой, над крышами изб появился легкий парок.

Вскоре пришел Родион. Он шагал к избе прямо по лужам, размахивая руками.

— Вот это была гроза! — весело воскликнул он, подойдя к крыльцу. — Всем гробам гроза!

— День рождения справлять будем? — спросил я.

— Будем! Но только не твой!

— А чей?

— Марии. Я хотел о твоём сказать, да она раньше на свой пригласила. Сказала, чтобы через часик приходили. — Родион сиял от радости.

— Без подарка как-то неудобно...

— Купим! Сейчас пойдем и купим. Вот только деньги возьму.

— А что мы купим? — поинтересовался я, когда мы подходили к магазину.

— Придумаем! — легко отмахнулся он.

— Это не так просто! — Усмехнулся я. — Одно дело — мужику купить, а женщине — это... — Я присвистнул.

— Здравствуй, Веруня! — весело произнес Родион. — Все тоскуешь?

— Тебя не спросила! — беззлобно огрызнулась та. — Чего надо?

— К тебе в магазин как не придешь, только и слышишь: «Что надо?» — пошутил Родион, шаря глазами по прилавку. — А может, я на тебя посмотреть пришел? Разве нельзя?

— Смотри. Мне-то что! — Она пожала плечами.

— Ну так что же мы купим? — ехидно спросил я, когда Родион растерянно посмотрел на меня.

— Марии, что ли, подарок собираешься купить? — заинтересовалась продавщица.

— Да, — бездумно отозвался Родион и, спохватившись, удивленно протянул: — А ты откуда знаешь?

— Да уж знаю. Слава богу, глаза и уши имею.

— Помоги тогда.

— А денег у тебя хватит?

— Хватит.

— Ну если хватит... — Она покусала губы. — Тогда купи вот это! — Она положила на прилавок насыльного цвета кофточку из английской шерсти. — И стоит-то почти совсем ничего. Размер Марии. Берешь?

— Заворачивай! — Родион махнул рукой.

— Восемьдесят семь рублей.

— А хоть сто!

— Ну а мне какие-нибудь недорогие духи и вот этот платок. — Я показал на зеленый с золотинками. — Только заверните все отдельно.

— Счастья тебе, Родион! — негромко сказала продавщица, когда мы бодро зашагали к выходу. — Мария хорошая! Поверь мне, бабе.

— Спасибо, Вера. Да только неизвестно еще...

Мария встретила нас на крыльце. Она была в новом платье, в туфлях на высоком каблуке, отчего выглядела еще выше, стройней и красивей.

— А я уж думала, что вы не придете! — улыбнулась она.

— Пришли вот, — пробормотал Родион. — Поздравляю тебя. Вот! — Он протянул подарок.

— Ой! Ну зачем ты?! — Она покраснела, прижала подарок к груди.

— Поздравляю! Желаю счастья! — Я протянул свой сверток.

— Спасибо большое! Проходите.

В избе вкусно пахло пирогами. Мария прошла в одну из комнат и тут же вышла, держа в руках кофту. Глядя на Родиона широко раскрытыми глазами, тихо спросила:

— Это мне?

— Не нравится?! — испугался Родион.

— Что ты! Но... — Прижала кофту к лицу и убежала в комнату.

Вскоре она вышла. Кофточка была на ней и сидела отлично.

Мы сели за стол. Родион наполнил тонкие стаканы шампанским. Выпили. Мария покраснелась. Беспременно суежилась. И было видно, что она очень рада.

Поставили пластинки, стали слушать. Потом танцевали. Вернее, танцевали только Мария и Родион. Разошлись поздно...

Меня разбудили среди ночи быстрые, тревожные, надрывающие сердце удары о рельсину. Я вскочил как ошпаренный. Родион тоже. Наскоро одевшись, мы выбежали и по еще не высохшим лужам затопали к сельсовету. Из изб выскакивали люди.

Когда мы подбежали, у рельсины в окружении людей стоял Тюля, держа на руках Чапу с разможженной головой.

— Убили... Совсем убили... — говорил он, глядя

собаку по спине. — Она хорошая была! Мы с ней слушали, как цветы растут...

Вокруг — молчание. Тугое. Опасное.

— Кто?! — яростно выдавил кто-то. Я узнал голос Петьки Штопора. — Кто?! — Штопор, сжав кулаки, пробирался между людьми. — Кто убил? — Он остановился перед Гришановым.

Тот скривился.

— Была нужда о каждую дрянь руки марать!

Родион шагнул. Я поймал его руку, но он рванул ее так, что меня развернуло. Подошел к Гришанову, молча схватил за плечи, сдвинул.

— За что ты ее?!

Я уезжал на следующий день. До автобусной остановки мы с Родионом не разговаривали.

— Ну, счастливо тебе! — сказал он на прощанье.

— И тебе счастья!

— На свадьбу приедешь?

— Приеду.

— Давай адрес...

ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ

Глубокая ночь. Сыплет мелкий нудный дождь. У скудно освещенного подъезда большого дома, прижавшись к двери, стоит небольшая сука. Вокруг нее — разномастная орава кобелей. Визг, рычание наполняют двор. Поджав хвост, она пугливо косится на них, тычется мокрым носом в узкую дверную щель, из которой несет теплом, негромко скулит и вдруг отбегает. Дверь распаивается. Широкая полоса света, выхватывая из темноты

мокрые, взъерошенные тела собак, пересекает двор и пропадает после хлопка двери. Вышедший из подъезда мужчина смотрит на собак, на темные окна, зло цедит:

— Люди спать хотят, а вы все гавкаете, сволочи! А все из-за тебя, проститутка!

Сучка, не сводя глаз с кулька, который держит человек, робко машет хвостом.

— Жрать хочешь? Проголодалась... Ну иди, по-жри! — говорит он, приседая на корточки. — Ну иди, чего же ты? — Он высыпает содержимое кулька на крыльцо.

Сука оглядывается на застывших в отдалении кобелей, смотрит на человека, на пищу и, виляя всем телом, помахивая хвостом, осторожно подходит к человеку.

— Жри, жри! — одной рукой поглаживая ее по спине — мокрой, худой, — а другой вытаскивая из кармана веревку, насмешливо говорит он. — Жри, пока дают...

Она тыкается холодным носом в его руку, шумно вздыхает.

— Ну вот и порядок! — довольно улыбается он, накинув ей на шею петлю, и, тяжело поднявшись, с силой дергает: — А ну пошли!

Собака взвизгнула, заметалась в тугой петле. Кобели отбежали в темноту.

— А ну пошли, стерва! — Мужчина рванул веревку.

Сучка прильнула к земле.

— Да что я тебя тянуть должен?! — выругался мужчина. — Но ничего, ты у меня сейчас сама, как миленькая, побежишь! — Он наклонился, поднял палку.

Собака вскочила и покорно, косясь на палку, стороной — на длину веревки — побежала.

— То-то! — удовлетворенно произнес мужчина, наматывая веревку на руку.

Кобели бежали следом. Грязь сочно чмокала под их лапами.

— А ну пошли вон, сволочи! — резко обернувшись, закричал он, взмахнув палкой.

Сучка закрыла глаза, дрожа, прильнула к земле.

— Ну а ты чего легла?! — выкрикнул он, саданув по ее упругому, с грязными сосками животу ногой.

Она жалобно взвизгнула, метнулась вперед.

— Давно бы так! — утробно хохотнул он.

Она бежала, заглядывая ему в лицо. Ближе к реке стала забегать вперед, на всю длину веревки, ложиться, смотреть на него, поскуливая, а когда он подходил, хотела лизнуть руку, но он резким пинком отбрасывал ее в сторону.

Рядом с рекой лежала груда черных мокрых камней. Они холодно поблескивали и пахли влажной. Мужчина остановился, поднял один, прикинул на вес, отбросил. Камень с тяжелым стуком упал на другой и, туго качнувшись, застыл. Взял другой, пробормотал, поглядывая на собаку.

— А вот этот вроде в самый раз будет. Как ты считаешь? — И засмеялся мелким колющим смехом.

Она заскулила.

— Да заткнись ты! — раздраженно крикнул он, привязывая камень к веревке.

Проверив прочность узла, шагнул к реке. Собака отчаянно рванулась в сторону дома.

— Да что я с тобой всю ночь возиться должен?! — прошипел он и, держа камень под мышкой одной рукой, а другой приподняв ее, понес к реке.

Гладь реки была темной и тихой. Он поднес собаку к самой воде и, раскачав, бросил. Она стяжелым всплеском упала рядом с берегом. Густые холодные капли ударили человека по лицу. Он злобно выругался.

Сучка вынырнула и, ошалело работая лапами, задрав морду с полными ужаса глазами, поплыла к берегу, вскочив на него, побежала. Побежала боком: волочившийся камень выворачивал шею. Появившиеся из темноты кобели встретили ее радостным лаем.

— Вот черт! — процедил мужчина, устремляясь следом.

Резкий рывок едва не опрокинул суку на спину. Она прижалась к земле, задрожала.

— Ну что? Убежала?! — тяжело дыша, произнес человек и выдернул торчавший из земли корень.

Удар по голове заставил собаку вскочить, изогнуться всем телом. Сладкая, непреодолимая слабость от следующего удара вынудила ее мягко лечь на землю, на бок, как ложилась она когда-то, желая накормить щенков. После третьего удара она захрипела, дернулась и затихла — насовсем, навсегда...

Надсадно дыша, мужчина вытер руки и не оглядываясь пошел прочь. У подъезда остановился. Жалобный вой прорезал тишину ночи.

— Отгавкались! — усмехнулся он и, зевая, шагнул в теплоту сладко спящего дома.

СМОРЧОК

По нему можно было проверять время. Ровно в десять, минута в минуту, когда в гардеробной

бани уже густо пахло веником, табаком, а разомлевшие, благодушно настроенные мужики неспешно цедили пиво, сдувая с кончика носа капельки пота, в дверях, словно привидение, появлялась его тщедушная фигура в замызганном пиджаке, спортивных брюках с обвислым задом и парусиновых туфлях со стоптанными вбок каблуками.

Некоторое время он переминался с ноги на ногу, шумно шмыгал носом и брел к стоявшей рядом с буфетом пустой бочке из-под пива. Помогая себе одной рукой, садился, другая болталась вдоль тела, будто кусок толстой веревки. Втягивал голову в плечи, горбился и, жалко улыбаясь маленьким личиком с большими мешками под глазами и облизывая полные, в темном налете губы, не отрываясь смотрел на толпившихся у буфетной стойки мужиков. Те косились на него и, снимая со стойки наполненные кружки, отходили неестественно прямо. Наконец кто-нибудь, брезгливо морщась, тыкал ему кружку в руку. Он жадно хватал ее, давясь, опоражнивал и, вытирая с небритого подбородка желтые капли, шипло бормотал слова благодарности. Вытаскивал из кармана ворох окурков, сосредоточенно выбирал, какой побольше; ловко управляясь со спичками, закуривал, дыша после каждой затяжки, словно чертовски усталый человек, оглядывая всех повеселевшим взглядом.

Докурив, слезал с бочки, подсаживался к кому-нибудь и, бесстыдно глядя в рот, предлагал:

— Хочешь, локоть укушу?

Обычно это был незнакомый ему человек. Завсегдатаи бани знали о его умении и от этих надоевших предложений просто отмахивались.

— Локоть?! — удивленно переспрашивал незнающий его человек и, оглядев, неохотно тянул: — Попробуй...

— А кружечку купишь?

И если тот соглашался, так же быстро добавлял:

— И бутерброд...

Неизвестно, что у него было с рукой, но локоть он кусал свободно. Брал левой рукой локоть правой так, чтобы запястье правой руки ложилось под локоть левой, тянул на себя и кусал. Укусив, отпускал ее, она стучала по бедру и, качнувшись, безвольно повисала.

Взяв кружку и бутерброд, попрошайка возвращался на прежнее место. Медленно, глядя в одну точку, пил, заедая бутербродом. Покончив и с тем и с другим, останавливал кого-нибудь и восклицал:

— Слушай, что я тебе расскажу...

Рассказывал он обычно о войне, в которой якобы участвовал и за которую якобы имеет медаль «За отвагу». Слушали его внимательно, но с переглядкой. Не хватало фантазии представить, что вот этот сидящий на бочке из-под пива человечек мог захватить в плен немецкого офицера, поднять людей в атаку. Но, когда он говорил, что его даже хотели представить к Герою, начинали откровенно смеяться:

— С тебя Герой — как с дистрофика тяжело-вес...

Он растерянно улыбался. Смотрел на лица и сначала неуверенно, затем все сильнее начинал смеяться сам и сквозь смех тянуть, спрашивать:

— А может, и вправду этого не было? А-а?!

И не понять было, у кого он об этом спрашивает: то ли у себя, то ли у обступивших его мужиков...

Уходил он перед самым закрытием. Долго и по нескольку раз жал руки, запахивал на груди пиджак, приглаживал редкие селе заметной проседью

волосы и выходил на улицу. Сгорбившись, шаркая ногами, брел куда-то, придерживая одной рукой ворот пиджака, другая болталась в такт шагам...

Кто он, откуда — никто не знал да и не интересовался. Знали одно, что кличут Сморчком и что он охотно откликается на эту кличку, ожидая, что за обращением последует угощение.

В тот день он пришел как обычно. Занял место на бочке и стал смотреть на стоявших у буфетной стойки мужиков. Провожая каждую кружку жадным взглядом и по-собачьи заглядывая в глаза, просяще улыбался. Очередь у буфета меняла свою длину, но никто не угощал его пивом.

Сморчок слез с бочки и, толкаясь среди мужиков, то одному, то другому предлагал:

— Хочешь локоть укушу?

— Да отстань ты со своим локтем! — раздраженно гнали его. — Надоел хуже горькой редьки!

Сморчок все с той же улыбкой оглядывался, переминался и, не встретив ни одного сочувствующего взгляда, отходил, чтоб через некоторое время вновь подойти с той же просьбой.

— До чего дошел! Я б на его месте лучше головой в прорубь, — презрительно глядя на потерянно стоявшего у стены Сморчка, громко произнес один из сидящих на диване мужиков.

— Пиво кончается! — во всеуслышание сказала буфетчица.

Сморчок вздрогнул. Зашарил по карманам. Растерянно оглянулся. Снова полез в карман пиджака, достал что-то и, зажав в руке, подошел к сидевшему на диване мужчине. Жалобно, словно просящий извинения ребенок, попросил:

— Купи кружечку! Я тебе на блесенки...

Он разжал ладонь. В ней, матово поблескивая, лежала медаль «За отвагу».

— Хорошие блесенки выйдут! Не ржавеет. Сам знаешь...

— Откуда мне знать? — буркнул мужчина, взяв медаль.

Повертел в пальцах. Потер о рукав добротного пальто. Небрежно опустил в карман, достал кошелёк и стал медленно вытаскивать из него и складывать стопкой на валик дивана монеты.

Сморчок провожал взглядом каждую. Шевелил губами.

— Бери! — сказал мужчина, кивая на стопку мелочи.

Сморчок торопливо схватил ее. Одна из монет упала на покрытый плиткой пол, звякнула и, описав короткую дугу, закатилась под диван. Сморчок лег на пол, просунул руку между ног сидящих, долго шарил. Наконец достал и торопливой походкой пошел к буфету. Взял наполненную кружку, и, словно пугаясь, что отберут, вышел.

— Как думаешь, пойдет на блесну? — спросил мужчина у соседа, показывая медаль.

Тот долго вертел, прикидывал и так, и эдак. Почмокал губами, ответил:

— Пойти-то, может, и пойдет... Надпись, конечно, придется напильником... По толщине, в общем-то, нормально, а вот блеска не будет, как ни полируй. Впрочем, попробуй. Я, лично, с шабера делаю. Правда возни побольше — металл крепче... — И, взглянув в сторону буфета, испуганно произнес:

— Что это с ним?

Сморчок смотрел на них, порывался что-то сказать, но лишь беззвучно разевал рот, бледнел и, царапая рукой буфетную стойку, медленно сползал на пол. Буфетчица вскрикнула.

— Родные, знакомые есть? — спросил врач, когда уносили прикрытое простыней тело Сморчка. Все молчали.

— Ну фамилию, имя знает кто?

— Сморчком звали, — неуверенно произнес кто-то.

Врач потер подбородок и последовал за носилками. За ним и все остальные. В гардеробной стало тихо и пусто, и лишь забытая на диване медаль, поймав солнечный луч, швырнула его на покрытую бисером влаги стену.

РАЗ ЖИВЕМ

Станиславу казалось, что автобус едет очень медленно, а пассажиры только назло ему нарочито не спеша входят и выходят. Ему хотелось накричать на них, ударить кого-либо, и, чтоб не сделать этого, он торопливо отвернулся к окну, за которым были хорошо видны залитая оранжевым светом фонарей улица, снег на черных, небрежно остриженных тополях, причудливые тени на тротуарах. И люди. Они возвращались домой по-разному: одни быстро, другие неторопливо, третьи — лишь бы только не стоять на месте.

Он выскочил на остановку раньше и пошел дворами, где было меньше света, но больше тишины. Шагал быстро, не глядя по сторонам, сунув руки в карманы пальто. У длинного многоэтажного дома, за которым был его двор, остановился, закурил. Курил жадно. Наконец отшвырнул окуроч, и он замер на снегу малиновой крапинкой.

«Вот погаснет — и пойду», — подумал он, не сводя с него глаз. Но когда огонек, медленно тускнея, пропал, лишь переступил с ноги на ногу.

Шедшие невдалеке женщины посмотрели на него, и одна из них, презрительно фыркнув, громко сказала:

— Снова напился!

— От этого, что ли, жена ушла? — спросила другая.

— От него. Да чем с таким жить...

Он болезненно улыбнулся.

Где-то рядом по-вечернему громко хлопнула дверь подъезда, раздались голоса, скрип снега.

Когда шаги стихли, он закусил губу и шагнул за угол дома.

Двор встретил его зябким бледно-голубым светом фонарей и тишиной. На снегу шевельнулась, завидев его, старая лайка.

— Жулька! — негромко позвал он.

Собака вскочила, вертя хвостом, подбежала, затыкалась в протянутую ладонь холодным мокрым носом.

— Метель зовешь? — пробормотал он, приседая на корточки и поглаживая ее по усыпанной снегом спине. — Ах ты, псина, псина! — И как бы случайно посмотрел в сторону своего дома — окна его квартиры были темны.

Он некоторое время бездумно гладил прильнувшую к коленям собаку, затем тяжело поднялся и побрел к своему подъезду. Собака смотрела ему вслед, неуверенно повиливая хвостом, склонив морду.

Лестничным маршам, казалось, не будет конца. Он поднимался медленно, как страшно усталый человек, держась за перила, глядя под ноги.

«А может, она все-таки вернулась? — с надеждой подумал он, останавливаясь на одной из лестничных площадок. — Вернулась и легла спать!» — И убыстрил шаги.

На своем этаже протянул руку к звонку, но сразу же медленно опустил. Посмотрел на соседние квартиры, приложил ухо к двери, надеясь услышать хотя бы шорох. Поднял край лежащего у порога резинового коврика, под которым, уходя на работу, вот уже больше недели оставлял ключ от квартиры, тот самый ключ, что лежал на кухонном столе вместе с деньгами и запиской: «Станислав! Жить так, как мы живем, я больше не могу. Ирина».

Ключ был на месте. Станислав поднял его, сдвинул в ладони, и он, маленький и холодный, как льдинка, прильнув к мозолям, грелся.

— Не вернулась... — тихо сказал он, покусывая губы и ощущая, как бесконечная пустота наполняет его. Такая пустота, что...

Квартира дохнула теплом. Он неохотно разделся, прошел в комнату и сел на диван, уронил тяжелые кисти рук на колени.

В комнате царил полумрак. В чистое окно сквозь тюль цеделся свет уличного фонаря и были хорошо видны высокая антенна на плоской крыше стоящего напротив дома и край густого и черного, как гуталин, неба, на котором холодно мерцали звезды. На журнальном столике сухо и деловито постукивал будильник.

Сидел долго и неподвижно и, лишь когда крепко и звучно хлопала дверь подъезда, вздрагивал и замирал в ожидании звонка. Но звонок молчал.

Пересилив себя, поднялся и прошел на кухню. Здесь тоже властвовал полумрак, но более плотный, потому что кухонное окно было задернуто занавеской. Он подошел к нему, прикоснулся лбом к стеклу. Город заглянул ему в глаза тысячами огней.

«А может, она думает, что я еще с работы не вернулся? — неожиданно пришло ему в голову. — Ну конечно же! Как же я об этом раньше не догадался?» — И торопливо, словно пугаясь, что не успеет, включил свет в кухне, комнате и стал ждать, потому что больше ничего не оставалось делать.

Никто из ее знакомых не знал, где она, а может, и знали, да не говорили. На работе ему вежливо сообщили, что Ирина Александровна Ваганова вот уже неделю как уволилась по собственному желанию и куда трудоустроилась — неизвестно.

Он стал ее искать с того страшного утра, когда, проснувшись, как обычно, с головной болью, долго лежал на диване и смотрел телевизор. Сердце вдруг сжалось, да так больно, что, казалось, еще немного — и разорвется. Он замер. С экрана телевизора смотрели добрые люди. Они двигались, жили там, за экраном, но ничем не могли ему помочь. Как не могли помочь и стоящие в комнате вещи, тепло, тишина.

И вот тогда-то он вспомнил о ней! А ее не было... Споткнувшееся сердце на первый раз пожалело его, выправилось, боль отпустила... И в памяти встало другое утро, давнее, когда она ушла, когда произошел тот последний разговор...

Она подошла и села к нему на диван в то время, когда он нетерпеливо поглядывал на будильник в ожидании открытия магазина.

— Станислав! — негромко сказала она. Голос ее прозвучал непривычно спокойно и тихо.

— Ну чего тебе? — насторожился он.

— Когда это кончится?

— Что именно? — спросил он, прекрасно зная, что она имеет в виду.

— Пьянка твоя!

«Когда-нибудь да кончится», — подумал он тогда, прикидывая, у кого бы занять денег хотя бы на бутылку сухого.

— Ведь недавно ты совсем не пил... — Она нервно потерла виски кончиками пальцев. — Что же произошло? Может, я что-то не так делаю? — Голос ее дрогнул. — Так ты скажи. Я пойму. Я обязательно пойму!

Он искоса посмотрел на нее. Глаза у нее были грустные и усталые. Хотел сказать, что вчерашняя пьянка последняя, но, вспомнив, что говорил ей об этом уже много-много раз и что сегодня, как ни крути, а надо опохмелиться, отвернулся лицом к стене.

— Ну что ты молчишь? — жалобно спросила она.

— А что говорить-то? — буркнул он.

— Ты только посмотри, до чего ты дошел... — тихо уронила она. — Небритый, опухший, глаза красные... Ну зачем ты пьешь?

— Зачем, зачем, — бормотал он, разглядывая рисунок на обоях. — Пью — и все.

— Как у тебя все просто! — Она грустно усмехнулась. — Устала я, Станислав. Если бы ты только знал, как я устала! — И жалобно: — Ну объясни мне, почему ты пьешь? Я пойму. Я постараюсь понять.

— Во-первых, если устала, возьми отпуск, — насмешливо проговорил он. — Во-вторых: что делать прикажешь в свободное от работы время? В кружок бальных танцев записаться или в народный хор? А то завалиться на диван и смотреть в этот — он ткнул пальцем в направлении стоящего в углу комнаты телевизора — или на тебя?!

— Люди читают, на рыбалку ходят...

— А меня не тянет! Не тянет! Да и вообще, какого черта ты ко мне с самого утра пристала?! Я что — на работу опаздываю, прогуливаю, денег мало приношу, по чужим бабам шастаю?!
Она встала и отошла к окну. Долго смотрела в него; не оборачиваясь, тихо сказала:

— Ты меня не любишь. Ты меня больше совсем не любишь. Если б любил...

— А ты на ромашке погадай! — язвительно посоветовал он.

Она круто обернулась, некоторое время пристально, словно видела впервые, смотрела на него.

— Ну чего смотришь? — грубо спросил он. — Дай лучше трояк...

— Возьми, — равнодушно разрешила она, отворачиваясь.

Деньги лежали в кухонном столе. Он взял трояк, воровато посмотрел в сторону комнаты, взял еще один и вышел в прихожую.

— Станислав! — негромко сказала она, по-прежнему глядя в окно. — Ты когда-нибудь задумывался над тем, сколько времени мы провели вместе за четыре года совместной жизни?

— Чего-о?! — удивленно протянул он.

— Да так, ничего, — тихо ответила она. — Ничего...

Он пожал плечами и вышел из квартиры, а когда вернулся с двумя бутылками сухого вина в кармане, ее не было.

Тикал будильник, искрилась от избытка света висящая под потолком хрустальная люстра. Он часто подходил к окну, смотрел на город, включал и выключал телевизор. И все время думал о том,

что сделал бы он, если вот сейчас, сию секунду вошла бы она... Он встал бы перед ней на колени! И чихать ему на мужскую гордость, на все на свете! Взял бы и встал. И стоял бы так, глядя на нее снизу вверх, пока не простила. Но ее не было...

Он потеряннно ходил по квартире, тыкаясь во все углы.

«А может, ей просто неловко входить, когда я дома?» — пришло ему на ум еще одно предположение. — Может, она хочет появиться дома, когда меня в нем нет?»

И, быстро одевшись, не выключая света, он вышел из квартиры, положил ключ под резиновый коврик и торопливо зашагал со двора, с трудом сдерживая себя, чтобы не оглянуться.

Станислав шел по улице, не замечая прохожих. Его обходили, оглядывались. Наконец он остановился и поглядел назад. Дом, в котором он жил, возвышался над всеми остальными. В окнах его квартиры горел свет. Он смотрел долго и пристально, и ему показалось, что в окне мелькнула тень.

«Вернулась! — радостно подумал он. — Слава богу! Наконец-то!»

И, расталкивая прохожих, побежал домой. Большой, неуклюжий...

Лифт не работал. Но он даже не заметил, как взбежал на девятый этаж. Не медля вдавил, как приказание, кнопку звонка. Квартира ответила молчанием. Он надавил еще. Тихо...

Чувствуя, как что-то теряется в нем, поднял коврик. Поднял медленно, как крохотную надежду, — ключ лежал на месте. Он был все такой же маленький и холодный, и Станиславу вдруг захотелось, чтоб он хрустнул в замке и не пустил его. Но он не хрустнул.

Квартира встретила теплом, светом и тишиной. Закрыв за собой дверь, он обессиленно привалился к ней спиной.

ДЕНЬГИ

Деньги лежали в комод, в верхнем ящике. Много денег — целых четыре пачки, аккуратно обернутых белой бумагой. На каждой округлым почерком жены было написано, кому и для чего они предназначены. На самой толстой: «Саше на одежду, часы и хороший фотоаппарат». На той, что потоньше: «Мужу моему Алексею на полуботинки, пальто и дорогую рубашку». Так и было написано: дорогую. На третьей: «Мне на платье и туфли». Четвертая пачка была тоньше всех, но она состояла из очень крупных купюр, и на ней было написано: «На Средиземное море».

Старик видел деньги каждый день, потому что вместе с ними в ящике комода лежала его электробритва, а брился он каждое утро. Брился не потому, что надо было куда-то идти, а по давней привычке, из любви к опрятности. А щетина росла быстро — жесткая, белая, частая.

Он просыпался рано. Прежде чем встать, долго сидел на краешке кровати, смотрел в окно, за которым в зависимости от цвета неба угадывал характер погоды, затем, как был — в кальсонах, рубашке (старуха почему-то называла ее размахайкой), совал длинные, чуть кривоватые ноги в стоптанные тапочки и, нещадно шаркая ими, горбясь от взобравшихся на плечи лет, шел на кухню, неторопливо ставил на газовую плиту чайник. В ожидании, когда он закипит, выкуривал сигарету, слушая деловой шум улицы, тиканье часов

в комнате — все те звуки, что предстояло ему слышать в течение тягучего, как нетерпеливое ожидание, дня.

Когда вода закипала, он заваривал чай так, как всегда это делала его старуха: ополаскивал заварной чайник кипятком, сыпал туда три чайные ложки заварки, бросал полкусочка сахара, заливал до половины крутым кипятком, укрывал полотенцем и шел надевать рубашку и сатиновые брюки с самодельным кармашком для часов.

Одевался медленно, часто задумываясь о чем-нибудь. Потом шел умываться. Умывался, шумно фыркая, разбрызгивая воду и всегда думая про себя, что будь жива старуха — ругани было б не избежать.

Вновь появившись на кухне, доливал заварной чайник кипятком и садился пить чай.

Чай пил долго. Напившись, проводил ладонью по щеке и шел к комоду.

Ящик комода, верно от долгого пользования, слегка перекошило, и он открывался с трудом, но старик был терпелив. Открывал его, бережно доставал деньги и долго смотрел на них. Он ни разу не развернул ни одной пачки, прекрасно зная, какие деньги находятся в каждой, потому что видел, как старуха раскладывала их в тот день, когда они пришли с ней из сберегательной кассы. Он хорошо помнил все события того светлого, счастливого дня, как помнит любой человек то, что в его жизни случается очень редко.

Народу в сберкассе тогда почти не было, и они со старухой мало стояли в очереди, но долго ждали, когда молоденькая кассирша пересчитывала деньги: они в основном были мелкие, а сумма большая, целых пятнадцать тысяч — все, что они смогли накопить за сорок лет совместной жизни.

Повторного счета старик уже не выдержал, отошел от окошечка кассы, где осталась стоять старуха, и сидел на стуле возле стола, на котором лежал ворох порванных лотерейных билетов.

Полученные деньги старуха положила в полиэтиленовый мешочек и спрятала на груди, под жакеткой. Шла к дому, опасливо поглядывая по сторонам, шепча: «Только б, не приведи Господь...» — и облегченно вздохнула, когда вошли в квартиру. Раздеваясь, сказала: «А я, Леша, и не знала, что копить-то легче, чем скопленное до дому донести!» Не попив чаю, не переодевшись в будничную одежду, она закрыла дверь в комнату, выложила деньги на стол и стала тщательно раскладывать их на стопки, поджимая губы, морща лоб.

Он сидел в стороне, молчал, зная, что когда дело касается денег, лучше не вступать. Просто сидел и смотрел на эти цветные бумажки в ее руках — коричневые, зеленые, красные, голубые — и видел в них так и не купленные вовремя пальто, ботинки, платье и многое другое...

Старуха брала каждую бумажку осторожно, распределяла деньги продуманно и бережно. Можно было подумать, что она боится потревожить их полное равнодушие ко всему земному.

— Это Саше, — сказала она и, хотя он молчал, строго добавила: — Я ходила по магазинам, приценивалась... Должно хватить и на одежду, и на обувь, и на часы, и на фотоаппарат. Помнишь, он говорил...

Старик не помнил, но согласно кивал. Он ощущал в душе непонятный праздник и грусть...

— А это... — Старуха положила высохшую темную ладошку на тонкую стопку, в которой лежали коричневые сторублевки. — Это на Средиземное

море... Здесь хватит на самое дальнее путешествие. Теперь мы сможем увидеть море и другие страны...

Отправиться в круиз по Средиземному морю она мечтала давно, с самого Дня Победы.

«Знаешь, чего бы я хотела, Лешенька? — задумчиво сказала она, когда они возвращались в теплушке после окончания войны домой. — Увидеть другие страны и обязательно теплые, полные чудес и красоты».

Деньги они сняли со сберкнижки за два месяца до возвращения сына из армии. Вместо сына получили бумагу: «Погиб смертью храбрых».

Они со старухой почти ничего не знали о той стране, защищая которую, погиб их сын. Знали одно: он погиб, защищая хороших людей...

Старуха слегла, и врачи не нашли такого лекарства, которое смогло бы заменить ей сына...

И вот он остался один. Правда, был еще сын — старший, но старик вспоминал о нем очень редко и вяло — не любил его. Что-то непонятное произошло с сыном, когда женился, стал быстро менять должность за должностью. В последнем его кабинете стояло уже четыре телефона, но позвонить родителям он не удосуживался. Приходил к ним в дом только в том случае, если ему было что-то нужно. А нужны ему были чаще всего деньги, хотя, по разумению старика, денег у сына было больше чем достаточно. Не от бедности же купил он толстый золотой перстень и золотые часы за целую тысячу рублей! Взял да и купил, словно носовой платок! А им со старухой эту тысячу надо было копить года два, а то и три, отказывая себе во многом.

«Ну да бог ему судья! — часто думал он. — Семья не без урода».

Так было и в это утро.

Словно выполняя привычный ритуал, старик посмотрел на вынутые пачки, к которым еще так недавно прикасались теплые руки его хозяйки, бережно возвратил их на место, взял электробритву и стал бриться перед помутневшим от времени зеркалом с фотокарточкой за верхним его краем. На ней они со старухой совсем еще молодые и красивые...

Старик натягивал пальцами кожу на щеке, водил электробритвой и невольно смотрел на свое лицо — лицо уже очень старого человека, о давней молодости которого напоминали, наверное, только уши, потому что на них не было морщин и тонких красных паутинок.

Неожиданный звонок в дверь заставил его вздрогнуть, выключить электробритву.

Дверь была закрыта на цепочку и на замок. Цепочку заставила приделать его старуха в тот же день, когда они принесли в дом деньги. «Бережного и бог бережет,— строго сказала она в ответ на его смешок.— Вот деньги истратим — и снимем».

На пороге стоял старший сын. От него пахло дорогим одеколоном, выглядел он вальяжным и ухоженным.

— Здравствуй, отец,— проговорил он, переступая порог.— Зашел вот навестить тебя. Как ты тут?— Коснулся губами только что выбритой щеки отца. Прикосновение было холодным, мимолетным.

У старика, как всегда при появлении старшего сына, заняло сердце.

— Проходи,— безразлично проговорил он.— Чай пить будешь?

— Нет!— Сын отрицательно покачал головой,

окинул комнату равнодушным взглядом, сел на первый попавшийся стул и стал смотреть себе под ноги.

— Разделся бы, что ли,— уронил старик.— Домой все-таки пришел.

— К сожалению, я только на минутку,— тускло отозвался сын, барабанив кончиками пальцев по колену.

— Вольному воля,— сказал старик и сел напротив.

На улице потемнело, и было слышно, как за окном зашуршал дождь.

— Я чего к тебе пришел...— проговорил наконец сын, по-прежнему глядя под ноги.— Мне денег надо. Не много, только тысячу. Долг. На дачу занимал.

«Сначала хоть бы о моем здоровье спросил,— с болью подумал старик.— Ведь отец же я ему!»— И сухо вслух:

— Нет у меня денег.

— Есть, есть! В верхнем ящике комода. Я видел, когда мать хоронили.

— Да не про твою честь!— жестко сказал старик.

— Куда тебе столько?— Сын мельком посмотрел на него.— А я верну. Как будут лишние, так и верну.

— Я их в детский дом отдам,— неожиданно для самого себя решил старик, удивляясь тому, как раньше недодумался до этого.

— Это несерьезно, отец!— поморщился сын.— У тебя родной сын просит, а ты в какой-то детский дом... Нет, батя, так дела не делаются! Не делаются!— Покачал головой.— Впрочем, дай мне тысячу, а с остальными поступай как знаешь!

— Нет!

Сын, шурясь, посмотрел на старика, снова побарабанил пальцами по колену, кривя губы, проце-дил:

— Ну и пропади ты пропадом со своими деньгами!— Тяжело поднялся, шагнул к выходу. В прихожей обернулся, сказал:— А деньги я, батя, найду. Ты меня знаешь. Да вот только к тебе я...— не договорил, махнул рукой и ушел — как и не было совсем.

Старик какое-то время сидел, слушая, как затихают шаги на лестнице, потом встал и подошел к окну.

У подъезда стояла служебная машина сына.

Горько усмехнулся, достал из комода пачку, на которой было написано: «Мужу моему Алексею». Открыл окно. В лицо пахнуло холодной влагой. Когда сын вышел из подъезда, крикнул громко, на всю улицу:

— Эй ты! Держи!— И швырнул вниз пачку денег.

Старик видел, как пачка, ударившись об асфальт, рассыпалась у ног сына. Видел, как он, сверху похожий на распытую лягушку, торопливо подбирал под дождем мокрые бумажки — коричневые, зеленые, красные, голубые...

ПЛЕЧО МУЖЧИНЫ

Серов лежал на подветренной стороне изрядно заросшего сосняком мыса, глубоко вдающегося в озеро. Здесь было тепло и спокойно. Звуки прибоя, бешено бьющегося на другой стороне, едва долетали. Вода у берега была неподвижна и слепила глаза. Дальше она чуть рябила, темнея,

еще дальше мрачно синела, а возле высоких островов, загораживающих выход из пролива, с неумолимой стремительностью возникали, падали и опять поднимались беляки, казавшиеся отсюда комочками ваты.

Серов перевернулся, подставил солнцу спину и стал смотреть на оконечность мыса, где по мелководью шли крутые стенки воды, обнажая желтое дно — в этом узком месте суши ветер особенно бушевал. Неожиданно из-за мыса, нещадно подгоняемая темными валами, выдвинулась длинная лодка. На носу сидел некто под плащом с капюшоном, на веслах — молодой мужчина, на корме съежилось что-то маленькое, цветастое.

«Лодка никудышная, — подумал Серов. — На руле девчонка, а гребец-то, гребец! Ишь ты! Махнет выше головы!»

Лодка повернулась бортом к волне и сделала попытку приблизиться к берегу, но, ткнувшись в мель, заливаемая водой, развернулась кормой по ветру. Гребец с усилием оттолкнулся, волны подхватили лодку, девчонка на корме вскрикнула и упустила кормовое весло.

Серов вскочил, подумав: «Если гребец попытается развернуть лодку, их обязательно перевернет!»

Но, суматошно лупя веслами, гребец сумел так продвинуть тяжелую посудину кормой вперед в полосу штиля. Теперь лодка была совсем близко от Серова. Гребец утирал лицо цветастой панамой. Его шея и грудь в вырезе тельника блестели от пота. На макушке, среди черной шевелюры, поблескивал пятачок лысины. Девушка, потирая ушибленную руку, нервно смеялась. Была она в легком коротком сарафанчике. Из-под плаща объявился худощавый старик в белом пиджаке.

— Романтики! — насмешливо пробормотал Серов. — Ну-ну!

В лодке тем временем пришли к соглашению высадиться. Гребец взмахнул веслами. Лодка стрелой понеслась к берегу. Расчет был на эффект: с ходу врезаться в берег. Эффект, однако, оказался совсем иного рода. Подскачив на подводном валу, нос лодки ткнулся в густые кусты можжевельника и был отброшен назад мгновением раньше, чем старик упал за борт. Гребец пытался повторить попытку. Серов не выдержал, раздраженно закричал:

— Да возьмите вы два метра левее, черт вас возьми! Да не спиной смотрите! Для этого глаза есть!

Гребец резко обернулся, хотел что-то сказать, но лишь презрительно скривил лицо.

Когда лодка ткнулась в берег, Серов, насмешливо оглядев компанию, собрался уйти.

— Подождите минуточку, — попросил старик. Буравя ногами воду, он подошел, глядя на Серова снизу вверх, с надеждой спросил:

— Вы местный?

— Местный, — неохотно отозвался Серов, глядя в сторону. — А что?

— У меня к вам огромная просьба! — Старик кашлянул в кулак, оглянулся на лодку. — Дело, понимаете, в том, что нам нужно обследовать ряд озер. Вода, микроорганизмы... Одним словом — гидробиология. Это мы умеем, а вот другое... — Он вздохнул, развел руками: — Сами видели.

— Да уж видел! — Серов усмехнулся.

— Понимаете, — мягко продолжал старик, тронув Серова за локоть, — нужен человек, который бы нам помог. Мы люди городские... Мы запла-

тим! Правда, немного... — Он снова развел руками. — Сколько выделили. Вы бы не смогли?

— Отчего же не помочь? — неожиданно для себя ответил Серов. — Можно.

— А семья? Она как? Против не будет? — повеселев, спросил старик.

— Не будет, — хмуро отозвался Серов. — Один живу.

— Вот и прекрасно! — Старик потер ладошки. — Просто чудесненько! Давайте знакомиться. — Сергей Иванович! — Ладонь у него была узкой и мягкой. — Девушку звать Ириной, а молодого мужчину — Арнольдом. А вас?

— Николаем.

— А по отчеству? — Старик склонил голову к плечу.

— Отчество не обязательно.

— Как знаете.

— Ночевать здесь будете? — то ли спросил, то ли подтвердил Николай.

— Здесь.

— Утром приду, — сказал Серов и, не оглядываясь, медленно зашагал к деревне.

* * *

...Утро выдалось веселое. Спускаясь к воде, Серов слышал, как на сосновом взгорье драли горло пороны, как призывно перекликались в туманной дымке над озером чайки. Теплая, отлогая волна редко била в борт лодки, перекатывала на дне песчинки. Из-под руки вывернулся и сиганул плуток окунишко. Адели вершины сосен, молодое пахло брусничкой, можжевельником, туманом. А дуновения ветра были теплы и ласковы.

В стоящей поодаль от берега палатке заворачивались. Зашипело, забулькало и кошачий голос, поднимаясь до невероятной высоты, взмыл:

— Джямаяка-а!..

Зевая, потягиваясь рыхлым телом, из палатки вышел Арнольд. Повесил транзистор на сучок березы, передернул полными белыми плечами, прошел мимо Серова, стал умываться, фыркая и крикая на все озеро. С его приходом все смолкло и даже запахи, кажется, исчезли.

Вышла Ирина в купальном костюме. Улыбаясь Серову, легко прошла к лодке и бросилась в воду с кормы.

Последним появился Сергей Иванович. Увидев Серова, громко и радостно поздоровался, сказал:

— А я уж грешным делом подумал, что не придете.

— Пришел, как видите,— отозвался Серов и закурил.— У нас обманывать не принято.

Чай пили молча, незаметно рассматривая Серова. Он, стараясь не замечать взглядов, хмуро думал о том, что вся эта экспедиция несерьезна, что зря согласился. Лучше бы занялся огородом, дровами — дел хватает. Кто вместо него все это сделает? Некому. Ну да ладно! Как говорят, назвался груздем...

После завтрака Сергей Иванович показал Серову карту. Поводил по ней пальцем, ткнул в голубое пятнышко:

— Надо попасть сюда. Можно?

— Можно.

— Потом сюда. Отсюда... А потом хотелось бы по этой цепочке. Пройдем?

— Пройдем.

— А закончить надо здесь...

* * *

...Они плыли уже второй день, по узким протокам попадая из озера в озеро. Серов сидел на веслах. Было очень жарко и тихо. Никто не разговаривал.

— Ну что, товарищи исследователи,— нарочито бодро проговорил Сергей Иванович, вытирая платком шею,— не сделать ли нам привал часиков этак до четырех? А?

— Пора бы,— устало согласилась Ирина, убирая со лба прядь волос.

— А я только во вкус вошел!— Арнольд взглянул на Серова.— Давайте уж закончим разом на этом озерике — и на ночлег. Кстати, уважаемый следопыт, где мы сегодня разведем костер? Нет ли поблизости отеля с кондиционированным воздухом?

— Отели нет,— сухо отозвался Серов, глядя в сторону берега.— А воздуха хватит. С дождиком, холодком.

— Вы это серьезно?— Сергей Иванович обеспокоенно посмотрел на него.

— Серьезней некуда,— хмуро сказал Серов.— Самое время выбираться на берег и ставить палатку.

— Старая фронтовая рана предвещает шторм?— насмешливо спросил Арнольд.

Серов не ответил. Сергей Иванович посмотрел на спокойную гладь воды, жмурясь — на сияющее солнце, вопросительно — на Серова.

— Будет сильный ветер с севера. Дождь. Может быть, гроза. Надо выбираться отсюда, пока не началась заваруха.

— Чего гадать? Будет — не будет!— возмути-

лась Ирина.— Арнольд, взгляни на анероид. Он у тебя под сиденьем.

Арнольд достал анероид, щелкнул по нему пальцем.

— Ну вот, сей третейский судья безапелляционно заявляет: будет ясно.

— Стрелка упадет за час до ненастья. Прогноз по анероиду запаздывает,— устало отозвался Серов.

Арнольд сощурился:

— Вы случаем не хохол?

— Ладно, давайте к берегу,— морщась, проговорил Сергей Иванович.— Там видно будет. А отдохнуть так и так надо.

* * *

Серов долго бродил по берегу и наконец нашел то, что было нужно: высокую, но не крутую песчаную гряду с густой молодой порослью.

— Вы считаете, что здесь будет хорошо?— спросила подошедшая Ирина, пряча улыбку.

— Надеюсь,— не оборачиваясь, неохотно отозвался Серов, прикидывая, где лучше развести костер.

— Интересно, почему вы придаете такое значение мелочам?— медленно проговорила Ирина.— Не все ли равно, где установить палатку? Ну пусть ветер, дождь...— Она дернула плечами.— Ну вымокнем немного... Разве это страшно? Вчера я обратила внимание на то, как вы разжигали костер. Вы накололи щепок...

— Смолья,— хмуро поправил Серов.

— Ну пусть смолья. Затем изрубили целое бревно, как-то по-особенному сложили. Зачем-то

еще окопали вокруг землю. Ведь можно взять газету, зажечь, накидать прутиков — и горит!

— Привычка,— буркнул Серов.— Ваш способ годится не всегда. В сырую погоду так ничего не сделаешь. Костер, как и человека, надо уважать. Он дает тепло.

Переваливаясь как утка, подошел Арнольд, сказал удивленно:

— Слушайте, чего вы тут копаетесь? Я нашел прекрасное место.

— Это где же?— Серов усмехнулся.

— Там, за горочкой...— Он взмахнул рукой.— Ветра не будет, камушек вместо стола, площадка для палатки.

— Пойдем посмотрим,— сказал Серов, отшвыривая ногой ветку.— Здесь?

— Да! А что, не нравится?!— спросил Арнольд с вызовом.

— Откуда ветер будет?— хмуро спросил Серов.

— Если вам верить,— пряча улыбку в толстых губах, протянул Арнольд,— то с севера.

— А где вы хотите ставить палатку?

— Как это — где?!— Арнольд нарочито удивленно посмотрел на Ирину.— Здесь! Где же еще?

— Отойдите в сторону.

Серов взобрался на кряж, примерился и сильно толкнул двумя руками стоящую на самом его краю сухую осину. Дерево злое затрещало. Он уловил ритм, толкнул еще раз. Сверху полетели сучья, что-то глухо охнуло, и массивный гнилой ствол, со свистом разрезая воздух, ударился о землю и прилип к ней, разломившись на три части.

— Там их много таких,— хмуро обронил Серов, сойдя вниз. Насмешливо добавил:— Ну дождь, ну вымокнем... Разве это страшно?

Арнольд подозрительно взглянул на него. Ирина закашлялась.

— Кроме того, здесь сыро.— Серов потопал — зачавкало.

— Наглядно,— неохотно согласился Арнольд.

— Ставьте палатку. Мы зря теряем время,— сказал Серов, направляясь к озеру.

У лодки, нелепо привалившись к ее борту, сидел Сергей Иванович.

— Что с вами?— испуганно спросил Серов.

— Жара,— прошептал тот, болезненно улыбаясь.— Сердце... Ну да ничего, отошло вроде... Не волнуйтесь...

* * *

День угасал, такой же тихий и жаркий. Пламя костра было почти незаметным. От костра наплывал вкусный запах гречки. Чайник посвистывал и поплевывал в огонь. Крышка его лихо плясала. Наплевало дремотное, бездеятельное состояние, когда дневная усталость берет свое и хочется просто лежать и лень поднять руку, чтобы снять паутину с лица.

Ирина взялась за дужку котелка, обожглась.

— Не так,— сказал Серов.— Отодвиньте шест. Правильно. Руку опустите в холодную воду. Вон там, в лужицу.

— М-да,— очнулся Арнольд.— Сморилло. А что, Сергей Иванович, может — того?

— Давайте-давайте,— тонким голосом проговорил тот.— Вам, я думаю, можно.

— Нашему брату, экспедиционнику, все полезно,— авторитетно заявил Арнольд, отвинчивая пробку с объемистой фляги.— Ну-с, уважаемый проводник... Кстати, как вас зовут?

— Николай.

— Ну а я Левицкий. У Ирины фамилия Снегова.

— Красивая фамилия,— отозвался Серов.— Чистая.

Арнольд налил спирт в алюминиевый стаканчик, протянул Сергею Ивановичу. Тот отрицательно помотал головой.

— Э-э, увольте. Мое дело — кефирчик, зефирчик...

— Вы?

Серов принял стаканчик, обвел всех взглядом, выпил.

— Еще?

— Нет.

— Зря. А я повторю.

Арнольд выпил, спросил:

— Может, передумали?

— Нет.

— Уважаю людей твердого сплава! Хотя для лесника вы пьете отвратительно... А я еще...

Арнольда потянуло на философию. Серов, послушав немного, пошел к лодке.

Сильно — так редко бывает в августе — потемнело. Дымчатые, едва различимые полосы облаков наплывали на звезды. Те мерцали ярко, быстро. Север был темен и неразличим. На западе узкая полоска заката багровела над зубчатым краем дальнего леса. Серов вытащил лодку подальше на берег, закурил, прислонившись к ее борту. Оттуда костер не был виден, лишь краснели вокруг него тонкие стволы сосен, да изредка вырывался в небо сноп искр. Затем повалил густой белый дым — видимо, в костер подбросили сырую хвою. Дым поднялся вертикально и вдруг резко метнулся в сторону и осел вниз.

«Начинается!» — подумал Серов.

Та же тишина неуловимо изменилась: стала ожидающей, напряженной. Слух обманывался — все время чудились далекие шумы, далекие крики. А вот и на самом деле где-то вдалеке возник еле уловимый шорох, еле уловимый вздох. Лес, казалось, напрягся, и смутно стало на сердце. Снова все стихло. Но тишина уже не могла обмануть — что-то готовилось, что-то зрело, что-то шло.

От костра доносились отдельные слова: «Экзюпери... Сезанн... старина Хем...» Опять была тишина. Затем послышался голос Ирины. С откоса посыпался песок — девушка спускалась к лодке.

— Арнольд напился, — сказала она, подойдя. — Кажется, он идет сюда.

Неуверенными шагами спустился к берегу Арнольд.

— Душно, — объявил он. — А где гроза, Серов? Где гроза, я вас спрашиваю? Вы ее отменили? — Качнулся, вцепился в борт лодки.

— Идите-ка лучше спать, — сказал Серов, морщась.

— Сейчас.. Вот постою только — и пойду... — Арнольд снова качнулся.

— Не вздумайте в палатку лезть! — зло сказала Ирина. — Возьмите мой спальный мешок.

— Не беспокойся! — Арнольд сплюнул, поднял указательный палец: — У меня есть свой метод!

Его метод заключался в следующем. Он расшвырял во все стороны догорающие угли, подмел кострище самодельной метелкой, ухая и ругаясь от укусов, наломал елового лапника, уложил его на горячую землю, затем улегся, накрывшись с головой прозрачной искусственной накидкой. Некоторое время он тяжело переворачивался с боку на бок — видимо, припекало снизу, — затем заснул.

А угли еще долго мерцали, пуская тонкие синие струйки дыма...

Серов взглянул на скрючившегося под накидкой Арнольда и внезапно почувствовал к нему острую жалость: «Оставь такого одного в лесу — пропадет!»

Ирина молча постояла, обхватив плечи руками. Несколько раз она о чем-то хотела спросить его, но не спросила и ушла.

Серов устроился за лежащей на земле толстой и сухой сосной, наклонно натянув над ней квадрат плащ-палатки. Перед собой развел небольшой костерок, употребив для этого два толстых сосновых чурбана. Сверху на них положил обрубок сухой березы. Он долго выбирал ее и нашел — красивая, она стояла на самом юру, судорожно вцепившись корнями в расщелину. Древесина — мелко-слоистая, вязкая, десятки лет наращивавшая скупые кольца на бедных соках скалы — туго поддавалась топору. Подняв ствол, он почувствовал его лютую тяжесть.

Языки огня жадно слизнули тонкую кору и прилипли, коснувшись железной древесины. Теперь костер горел только внизу — ровно, не спеша, отбрасывая тепло под навес.

— Вы не спите, Серов? — послышался голос девушки.

— Нет, — скупко отозвался он.

— У вас есть что-нибудь от комаров?

Он молча поднялся. Ирина стояла возле палатки, зябко поводя плечами.

— Не спится... — пожаловалась она. — Какие-то мысли... У вас не бывает?

— Каждый день. Вот возьмите.

Она взяла пузырек, капнула на ладонь, потерла руки, затем провела ими по лицу.

— Я впервые так далеко от дома и в лесу. Тут, наверное, и всякие звери есть?

«Детский сад!»—с непонятным для себя раздражением подумал он и с досадой ответил:

— Есть.

— Мой вопрос глуп?

Он пожал плечами, достал портсигар. Девушка невесело рассмеялась.

— Знаете, мне просто не по себе. Сергей Иванович спит. Арнольд тоже. Мне показалось, что и вы уснули, а я одна в этом диком месте. И всякие мысли... Моя мама верит в предчувствия. Мне кажется..

— Непогода,— перебил он.— Слушайте лучше лес, чем всякие там предчувствия.

Лес гудел. Скользкая редкая хвоя сосен посвистывала, на стволах бились и шуршали тонкие кожурки, ели вздыхали тяжело и мрачно. В распадке за кряжем без умолку лопотал осинник. Где-то упало дерево.

— Как одиноко в лесу,— медленно и печально вновь заговорила Ирина.— Это что-то чужое... Одна я сошла бы здесь с ума от страха! А вы?

— Как видите, пока не сошел,— усмехнулся он и взглянул на нее. Лицо ее было плохо различимо, а глаза чисты и холодны. «Снегова,— вспомнил он.— А вообще-то чего я тут стою?»

Ударил пронзительный ветер, взвыл в вершинах, с озера долетел гневный рокот воды.

— Идите-ка лучше в палатку, Ирина,— мягко посоветовал он.

— Я боюсь. С нами ничего не случится?

«О господи»,— подумал он и снова посмотрел ей в глаза, почувствовав, что она действительно боится.

— Ничего не случится,— сказал он.— Спите спокойно.

— Спасибо,— тихо проговорила она и ушла в палатку.

Хлынул дождь. Серов, шурясь на огонь, курил тонкую папиросу, невесело думая о том, что скоро ему будет тридцать три года, а у него ни жены, ни детей—только лес да озера. Что если честно, то и согласился он на участие в экспедиции, только чтобы хоть немного побыть с людьми, городскими людьми, узнать, какие они, чем живут, да и, чего уж там скрывать, девушка ему приглянулась... Чем—он не знал. Приглянулась и все! Так уж сердце устроено! Не все расшифровать можно. А то и не хочется...

Рассвет наступил неуютный, мокрый. Едва он вылез из своего укрытия, как его пронизало холодным сырым ветром. Капля попала за воротник. Лицо после бессонной ночи у костра было сухим и чужим.

Он вышел к лодке, оглядел горизонт. Рваные, неприятного вида тучи низко и очень быстро неслись над водой, а вдали все тонULO в серой пелене. По озеру бестолково метались взбаламученные волны. Они тоже были серыми и скучными.

Он умылся, и, чувствуя себя не вполне здоровым, пошел назад. По дороге сшиб кулаком с березы шишкообразный нарост. Вскипятив воду, искрошил в нее свою находку и, помедлив немного, стал пить. Горячая, черная, пахнущая березовым соком жидкость приятно согревала. Из палатки вышел Сергей Иванович. Горбясь, подошел к костру, присел на корточки, протянул руки к огню. Они казались очень старыми—глянцевая кожа, бугристые суставы пальцев. Серов протянул ему кружку.

— Насколько я понимаю, чага?— Старик кивнул на кружку.

— Она самая.

Сергей Иванович внимательно посмотрел на него, покачал головой, уронил:

— Вы плохо выглядите.

— Вы не лучше.

Заворочался и сел, бессмысленно глядя перед собой, Арнольд. К щеке его прилипла хвоя. Рукав был мокр и покрыт золой. Его трясло.

— Доброе утро!— приветливо сказал Серов.

— К черту!— вороньим голосом отозвался тот. Поднялся, с отвращением посмотрел на свою испачканную одежду.— Замерз как собака! О черт! Брюки прожог!— И принялся бегать вокруг костра, подпрыгивая, размахивая руками.

Зябко спрятав руки в рукава кофты, подошла Ирина. В широком плаще с капюшоном она казалась совсем маленькой. Встретившись взглядом с Серовым, она тепло улыбнулась.

Арнольд обсыхал у костра, подставляя огню то один, то другой бок, угрюмо молчал.

Завтракали под навесом Серова. Здесь было тепло и сухо. Арнольд украдкой откупорил флягу, глотнул.

— Какие прогнозы, Николай?— спросил Сергей Иванович, вороша прутом в костре.

— Северный ветер!— Серов пожал плечами.— Трудно сказать... Во всяком случае, сегодня лучше не будет.

— Плохо. Очень плохо!— Сергей Иванович шумно вздохнул, потер лоб.— А работать надо. Следующая у нас Сяргиламба. Далеко это?

— Не очень.

— Ну что? Давайте собираться.

Когда лодка была загружена, мужчины закурили.

— Арнольд,— негромко проговорил Серов, после продолжительного молчания,— видите на том берегу сухую сосну? Возьмите бинокль.

— Я и так вижу. Она одна там.

— Правильно.— Серов кивнул.— Надо держать на нее. Там протока. Ветер попутный — за час доберетесь. А я пойду берегом. Там вы меня обождите. Договорились?

— А почему не с нами?— процедил Арнольд, шурясь.

— Лодка перегружена. Зачем лишние килограммы?

— Но ведь и я могу идти берегом? Или, к примеру, Ирина.

— Берег топкий. Есть зыбуны.

— Тогда возьмите с собой Ирину. Ради чего ей мерзнуть?— предложил Сергей Иванович, поворачиваясь спиной к ветру.

— Можно.

— Но у меня нет сапог!— растерянно проговорила она.

— Как это нет?— разозлился Серов.— Вы что, на танцы собирались? Романтики, что б вас... Детский сад!— И решительно:— Значит, так! Держите строго на сосну. Гребите без перерыва. Засеките ориентир на этом берегу и не давайте лодке уклониться.

— Не волнуйтесь,— бросил Арнольд.— Доберемся.

Серов посмотрел, как лодка отчалила от берега, вскинул ружье на плечо, поправил лямки рюкзака и нырнул в чащу кустов. Он оступился уже на втором километре, свалившись с кочки в болотную жижу. Старательно очистив ружье, не обра-

щая внимания на грязное лицо, двинулся дальше, внимательно глядя под ноги. У неширокой протоки с зыбкими берегами вырубил длинный шест, долго нащупывал на дне твердое место. Наконец нашел. Перекинул рюкзак, ружье и патронташ на ту сторону, примерился к берегу, рассчитал шаги, легко разбежался. Берег заходил ходуном, и, уже летя через протоку, он почувствовал, что толчок был слабоват.

«У берега шлепнулся!— подумал он.— Надо сразу вперед рвануть!»

В это мгновение шест осел и встал вертикально. Чуть не задев сапогами воду, ругаясь на чем свет стоит, Серов вынул одной рукой из кармана папиросы и спички, бросил их на берег и только потом плюхнулся в холодную воду. На берегу разделся, выжал и вновь надел одежду.

Теперь он уже не боялся промокнуть и шел напрямик. Выйдя на каменистый мыс, увидел лодку на середине озера. Она показалась ему несуразно высокой. Вот она развернулась, и он выругался — на лодке стоял парус! «Болван!»— процедил он и вдруг вспомнил, что на входе в протоку множество стоящих торчком топляков. Он побежал так, как давно уже не бегал.

Проваливаясь, задыхаясь, чувствуя, как жжет в груди, как сохнет в горле, Серов спешил к протоке, боясь взглянуть на озеро. Когда наконец добежал до цели, ему показалось, что он слышит голос Ирины. Лодка была совсем недалеко. Громадный брезентовый квадрат закрывал от него сидящих в ней людей. Лодка вела себя плохо. Она рыскала носом, испытывая сильную качку. Видно было, как набегающие волны, нет-нет и перехлестывают ее борт. Но самое страшное было в том, что

мчалась она с неодолимой скоростью, тяжелая, оседающая все глубже и глубже.

— Парус долой!— заорал он. Ветер заткнул ему горло. Он крикнул снова, и снова слова были забиты ему в рот.

Слева от лодки на воде возникло черное широкое пятно. Черный боковой шквал шел на лодку. Чувствуя, как холодеет где-то у живота, он, сидя прямо в луже, быстро, очень быстро и яростно рвал с ног сапоги.

Легко и грациозно легла на воду мачта, ветер донес короткий вопль — и лодки не стало... Сергей Иванович судорожно нырял. Полы его пиджака распластались на воде. Рядом с ним была Ирина. Она пыталась ему помочь, но движения ее были суматошными.

— Ложитесь на спину и головой — на мое плечо! — отфыркиваясь, сказал Серов, подплывая.

— Я сама... Вы Сергею Ивановичу...

Ирина плыла рядом, широко загребая руками. У самого берега навстречу им бросился Арнольд.

— Я помогу!

— Пошел вон, дрянь! — прохрипел Серов.

Берег был плавучим. Держась руками за его кромку, они стояли вертикально, не чувствуя дна под ногами. Это было неприятно и страшно. Ноги уходили под берег, сзади окатывала волна. Выбравшись с трудом. Всех трясло.

До леса было недалеко. Но спасительный костер развести оказалось непросто. Спички вымокли. Серов надрал тонкой бересты, раздобыл клочок сухой ваты из ворота фуфайки, высыпал дробь из патрона, запывал его ватой и выстрелил в землю. Вата затлела только на второй раз. Пристроив к пей бересту, он долго дул, кашляя. Наконец свернувшаяся в трубочку прозрачная пленка

затрещала, вспыхнул желтый огонек. Он кормил его бережно, словно птенца. Сизый дым качался и падал. Но огонь пробился, вспыхнул радостно, словно изумляясь своей вечной силе.

— Это хороший костер,— сказал Серов, утирая кулаком слезящиеся глаза.— Какого лешего стоите? Раздевайтесь.

Они долго молчали, сидя под защитой растянутой плащ-палатки, вздрагивая от холода. Одежда, развешанная на кольях, парила, и запах этот был неуютен и горек.

— Все погибло!— горько уронил Сергей Иванович.— Все: дневники, карты, пробы. Как это случилось?— посмотрел на Серова.

— А что ему?!— вскинулся Арнольд.— Он умный. Сам берегом, а нас тонуть послал...

— Разве можно ставить парус, да еще такой, на лодке без киля, без румпеля?— негромко сказал Серов.

Арнольд вскочил:

— Видали?! Он еще нас и обвиняет! Ах ты!..

— Сядьте!— резко оборвал его старик.— Сядьте и помолчите. Мы сами виноваты. Сами! А больше всего я. Я и отвечу. Все!— И хлопнул ладонью по колену.— Разговоры окончены!

До самого вечера Серов трудился. Он натаскал дров, разложил их полукругом, затем нарубил ножом елового лапника, тщательно уложил на просушенную костром землю. С помощью Арнольда соорудил шалаш из длинных ветвей ольшаника.

— Я помогу вам,— тихо сказала Ирина, когда он, сбросив очередную ношу, вытирал лицо.

— Куда вам босой...— ответил он ненатуральным голосом, снова исчез в лесу и принес много бересты — толстой березовой коры.

В висках у него ломило. Там остро и настойчиво, как дятел, бился пульс. Временами наваливалась дрема, хотелось бросить все и лечь в сырую лесную траву, охладить лоб, омыть исцарапанные горячие руки.

«Нездоров...— вяло подумал он.— Нездоров...»

И слово это прилипло к нему как смола, как припев дурацкой песенки, и он невольно повторял его, делая шаги под этот ритм, отмахивался, как от комаров, и опять повторял. И это раздражало его.

— Я помогу вам,— вновь предложила Ирина.

— Не надо,— ответил он. Даже слова давались ему с трудом.

— Послушайте,— сказала она,— подождите!

Они были в лесу недалеко от костра. Уже сильно стемнело. Он остановился. Она подошла и положила руку на его лоб. Воскликнула:

— Вы же нездоровы! Вы горите! Вам надо лечь!

— И вызвать врача,— усмехнулся он.— И поставить градусник...

Внезапно ему снова расхотелось говорить, он почувствовал отвращение к словам, ко всяким словам, да и вообще ко всему.

Она не отнимала руки, и он закрыл глаза.

— Вам надо лечь,— тихо говорила Ирина.— Вам надо обязательно лечь! Как же мы без вас...

— Идемте к костру,— выдавил он.

После короткой, джентльменской, как выразился Арнольд, перепалки, Серов отдал свои сапоги Сергею Ивановичу. Себе он сплел из бересты некоторое подобие лаптей. Все молчали. Только не молчало все вокруг: бились о берег волны, шумели кроны деревьев. Нет-нет и начинал накрапывать дождь.

— К югу от нас шоссе,— медленно заговорил Серов.— До него километров восемьдесят отменных карельских болот. Это три, а то и четыре дня пути. Пища подножная. Будет трудно. Поэтому предложения два: или идти всем вместе, или поспешать кому-то одному, а другим двигаться за ним потихоньку. Первый может привести помощь.

— Пожалуй, так вернее,— подумав, отозвался Сергей Иванович.

— Хотите уйти, Серов?— насмешливо и зло спросил Арнольд.— Сразу предупреждаю — не выйдет номер.

— От вас бы — с удовольствием,— устало отозвался Серов,— но придется идти вам.

— Мне?! Я готов!— торопливо согласился Арнольд.— Восемьдесят километров?! Два дня пути.

Серов усмехнулся, сказал:

— Слушайте меня внимательно. Вот юг. Позади вас Полярная звезда. Это ночью. Утром — солнце в левую щеку, днем — в лицо, вечером — в правую. Если нет солнца, на одиноких деревьях крона вытянута на юг, на ней больше ветвей. Муравейники с южной стороны деревьев. Следите за косяками птиц. Утром они летят на юг. Только на юг.

— На сборах мы ходили по азимуту,— раздраженно сказал Арнольд.— Что вы меня, как первоклассника, учите?!

— Тем лучше. Не забывайте, что ни налево, ни направо жилья нет на двести верст.

— Мне нужно ружье.

— Нет! Будете есть грибы, ягоды.

— Без ружья? Одному? — Арнольд пожал плечами.

— Дайте,— сказала Ирина.

— Нас трое!— возмутился Серов.

— Без ружья не пойду! Что за идиотство, в самом деле!

— Ну хорошо. Но вы должны прийти.

— Дойду!

* * *

Серов проснулся от холода, хотя костер не догорел и до половины. Очень болела голова. Густой туман окутывал деревья. Было очень тихо. Невдалеке на озере спокойно подала голос кряква. Серов посмотрел на спящих, взял ружье и неслышно двинулся в глубь леса. Туман сомкнулся за ним.

Отойдя от костра метров на двести, достал из кармана теплую, отполированную куриную косточку на шнурке. Тихий мелодичный свист завершило незамысловатое коленце. И еще тише, напряженной стало в лесу. Серая тень появилась почти бесшумно, мелькнула над головой и застыла справа на голом сучке осины.

«Ишь ты, молчун!»— невесело подумал он, наводя ствол ружья на смутный силуэт птицы.

Выстрел, громкий и резкий, больно отозвался в висках. Бесформенный комок упал в траву, и еще было слышно, как горохом стучала дробь по отдаленным деревьям. Точно разбуженный выстрелом, совсем близко зашелся второй рябчик. Ему откликнулся сосед, в отдалении отозвались сразу трое — маленькие лесные петушки вели утреннюю переключку.

«Будет погода»,— подумал Серов, приближаясь к певцам.

А голова все болела, и трудно было дышать. Он выстрелил еще два раза и направился к костру.

Его встретили радостно, и он с облегчением подумал, что все здоровы.

— А я набрала грибов,— сказала Ирина.

— Очень хорошо. Я сейчас запеку птиц.

— Слушайте,— поднялся Арнольд,— я пойду. Зачем терять время?

— Ну что же...— Серов порылся в рюкзаке, вытащил небольшой сверток.— Здесь сухари.— Снял с плеча ружье, бережно провел ладонью по холодным стволам, протянул Арнольду. Вслед за ружьем отдал и патронташ.— Девятнадцать зарядов. Берегите их от воды.

Арнольд взял ружье с едва скрываемым удовольствием, как человек, редко державший в руках такие вещи. Взглянул на Серова, замялся. Перевел взгляд на Ирину, на Сергея Ивановича, выдохнул:

— Пойду я.

— Надеемся на тебя,— сказал старик.

— Чего там!— буркнул Арнольд, вскидывая ружье.— Я быстро! Может, вертолет вызову.

— По нашим делам и милицейской машины хватит!— Сергей Иванович грустно усмехнулся.— Ну ладно уж, иди...

* * *

Через два дня они выглядели очень плохо. Серов шатался, с трудом отгоняя галлюцинации. Ирина расцарапала ноги. Ей очень хотелось плакать, но она сдерживала себя. Сергей Иванович все время отставал, и они останавливались каждые полчаса, поджидая его.

— Серов, умоляю вас, остановимся,— прошептала Ирина на одном из таких привалов.— Вы не можете идти... Мы подождем здесь Арнольда.

— Вы хотите сказать, что я могу умереть...— Он облизнул пересохшие губы.

— Перестаньте!— с надрывом вскрикнула она.— Зачем вы меня пугаете?

— Вы пугаете сами себя. Надо идти. В лесу человек может надеяться только на себя. Это одна из истин.

— Господи, какая жестокая истина!

...На третий день Серову стало легче. Они отдыхали на светлой опушке сухого бора. Впереди лежала поляна, покрытая малинником и валунами. Солнце расщедрилось — грело по-летнему.

— Осталось немного,— сказал Серов.

— Наконец-то!— выдохнул Сергей Иванович.

Ирина встала и направилась к поляне. Серов задумчиво смотрел ей вслед.

Маленький косматый медвежонок выкатился на поляну, присел, смешно поводя крапчатым носом.

— О боже!— растерянно прошептала Ирина.— Зверь!

Серов вскочил. В ту же минуту кусты справа затрещали. Вышел Арнольд. Он лихорадочно поднимал ружье.

— Стойте!— отчаянно закричал Серов.

Но выстрел грохнул.

Медвежонок заплакал. И все завертелось в сумасшедшем темпе. Серов в два прыжка очутился рядом с Ириной, оттолкнул ее, пригнулся. Медведица была уже рядом. С необыкновенной остротой он понял, что она ударит справа, пригнулся еще ниже, почти уткнувшись лицом в вонючий мех, и вонзил нож под левую лопатку зверя. Затем его пригнуло к земле, и он стал падать. Он все падал, падал и падал, и это тянулось томительно долго почти без всяких ощущений. Наконец он упал

и понял, что остался жив. И только тогда потерял сознание. Но вот красные круги перед глазами разошлись, и он осторожно открыл глаза. Увидел склонившуюся над ним Ирину, долго смотрел на ее лицо. Затем услышал, как покашливает Сергей Иванович.

И тут заговорили все разом. Молчал лишь Арнольд. Стоял, смотрел то на Серова, то на пасть медведицы, из которой сочилась темная звериная кровь. Потом заговорил и он: суетливо стал объяснять, что заблудился, что три дня не ел, что он виноват и многое другое...

...Усатый, похожий на украинца парень остановил мотоцикл, с большим недоверием глядя на четверых подозрительного вида граждан, вышедших на дорогу. Вгляделся пристальнее. Всплеснул руками, огалтело закричал:

— Серов?! Николай! — Цапая его руками, возбужденно заговорил: — А я жду уже четвертый день! Печь топлю, огород вскопал...

Мотоцикл увез двоих, чтоб через час вернуться. Серов сидел на пенке; щурясь, смотрел на заходящее солнце. Тихо шумел сосновый бор, бабочками сыпались с низеньких придорожных кустов легкие листья. На сердце у него было ласково и спокойно.

ОБЛАКА

Фотоаппараты в нашем крупнопанельном доме имели многие, но, как, наверное, и все фотолюбители, мои соседи фотографировали лишь от случая к случаю, а уж фотокарточки печатали и того реже.

Исключение составлял Василий Гореликов — тридцатилетний плотник-бетонщик промышленного СМУ. Все свое свободное будничное время (я уж не говорю о выходных днях) он проводил с фотоаппаратом на груди, обязательно освобожденным от футляра. Порой мне казалось, что он и спит с ним, и обязательно в обнимку.

Что и кого снимать — ему было совершенно безразлично: похороны, и свадьбу, и знакомого, и совершенно незнакомого человека. Надо было лишь только заикнуться, и он охотно фотографировал.

— Сфотографировать, говорите? — деловито переспрашивал он, проведя по лысеющей голове издрагивающей ладонью. — Это можно. Отчего не сфотографировать, раз надо... Минуточку...

Неторопливо доставал из кармана объемную записную книжку, старательно слюнявил пальцы, отыскивая в ней свободное место, деловито спрашивал: какого формата нужны фотокарточки, сколько штук, к какому числу и придет ли человек сам за ними или их надо занести ему на дом. В последнем случае тщательно записывал домашний адрес. Затем, не отрывая глаз от написанного, потирал рыжеватую, казусную бороденку, шепелил полными, почему-то всегда мокрыми губами и, взглянув на человека маленькими и юркими, как мышь, глазами, называл цену.

Деньги за фотокарточки он драл безбожно. Это я вам говорю честно. Я никак не мог понять, отчего люди, не возмущаясь, не возражая, более того — охотно, платят ему этикие бешеные деньги, пока не поговорил со своим приятелем.

— Слушай, дружище! — не без возмущения спросил я у него. — Как ни крути-верти, но это же настоящая обдираловка!

— Обдираловка,— охотно согласился он.— А что делать? Что делать? Нести малышку в фотоателье? Можно, конечно, и отнести. Но как ее там снимут?! Вот в чем дело... Там, если здраво разобратся, что важно? План! Для этого достаточно только затвором щелкнуть. А твой знакомый сфотографировал ее так и в таком виде, как нам с женой хотелось, и без суеты, и без спешки, и без нервозности... Видишь, какие пузыри пускает?— улыбнулся он, показывая на одну из лежащих на столе фотокарточек.— А в фотоателье стали бы ждать, когда она пузыри начнет пускать? Вот то-то и оно, что не стали бы. Или вот здесь...— Он показал на следующую фотокарточку.— Вырастет дочка, посмотрит на себя такую... Да и нам с женой под старость радостно смотреть будет. Фотокарточки, насколько я разбираюсь, сделаны отлично,— добавил он, помолчав.— Так что...— И приятель развел руками.

— И все же,— пробормотал я, невольно соглашаясь с ним,— совесть надо иметь!

— А это уж...— Приятель снова развел руками.

Шло время. И хоть мне очень не хотелось обращаться к Гореликову, но пришлось.

— Здравствуй, Василий,— сказал я, когда он в ответ на мой звонок открыл дверь квартиры.— Ты извини, что поздно. Понимаешь, брат с семьей приехал. Не смог бы ты...

— Сфотографировать?— быстро спросил он.— Сейчас?

— Да. И вот еще что: мне надо пять фотокарточек размером 9×12. Сколько это будет стоить?

— Сколько?— Он почмокал губами.— Шесть рублей.

— Да ты что, сдурел?!— воскликнул я.— Мне за эти деньги надо полдня работать!

— Как хочешь,— равнодушно уронил он, снимая фотоаппарат с плеча.

Я мысленно чертыхнулся, подумал, когда еще брат придет, и раздраженно буркнул:

— Ладно! Пошли!

— Вот ты считаешь, что дорого,— заговорил он, когда мы стали спускаться по гулким лестничным маршам.— Давай прикинем: бумага, проявитель, закрепитель, работа, время— все это мое. Это одно. Второе: фотоаппарат должен себя окупить. Моя машина,— он притронулся рукой к фотоаппарату,— стоит триста. Плюс фотоувеличитель, ванночки, фотовспышка, глянецватель. Они тоже денег стоят, и, должен сказать, немалых.

— Да ты уж давно все окупил,— заметил я.

— Вполне возможно,— согласился он.— Ну так что из этого?— Он искоса посмотрел на меня.— По-твоему, раз вещь себя оправдала, ее можно выбрасывать...— Он усмехнулся, помолчав, добавил:— Нема дурных! Да и в конце-то концов ведь не я прошу сфотографировать, а меня просят. Не так ли? Так! Я назначаю цену, а уж согласиться или отказаться— дело заказчика. Верно?

Мне нечего было ему возразить.

— А кроме людей ты что-нибудь снимаешь?— спросил я с интересом.

— К примеру?

— К примеру— природу.

— А зачем?— недоуменно спросил он.

— Как— зачем? Красиво! Закат. Восход. Речка. Да мало ли... Такие снимки можно в журнал посылать, на конкурс и вообще...

— Вот именно!— Усмехнулся он.— И вообще...

Спустя несколько дней я уехал в командировку, а когда вернулся, узнал, что у меня новый сосед.

— Фотографией занимается,— обеспокоенно сказал мне Гореликов.— Цветной. Видел, как он химикаты покупал.

— Ну так и ты займись! За чем дело стало?— посоветовал я ему.

— Займись...— передразнил он.— Цветной заниматься — без штанов останешься.

Своего нового соседа я встретил уже на следующий день, возвращаясь с работы. Это был крупный, угловатый мужчина. Он медленно, не глядя по сторонам, шел по двору, заметно хромя на левую ногу. Широкое лицо его, изрезанное морщинами, выглядело болезненным и усталым. Через плечо, поверх зимнего пальто, висел фотоаппарат в черном, отливающим глянцем футляре. Мы поравнялись, взглянули друг на друга, сказали «здравствуйте» и разошлись.

Со временем я узнал, что моего соседа величают Иваном Силантьевичем, что он инвалид Великой Отечественной войны и что его жена, тихая, неприметная женщина, работает в детском саду воспитателем.

Встречались мы с ним редко, обычно в выходные дни. Обменивались коротким приветствием и расходились. Да и о чем нам было говорить?

Как-то незаметно нагрянула весна. Прошел праздник Первого мая, и наступил День Победы.

День этот выдался солнечным, теплым. Сидя у окна, я видел, как Иван Силантьевич и его жена, поддерживая друг друга, тихо шли по двору, осторожно обходя лужи. Он был в офицерской форме, жена в светло-зеленом платье и вязаном жакете.

Немного погодя вышли из дому и мы с женой. На людных улицах асфальт был сух, стоящие вдоль дороги тополя уже пушились первыми нежно-

зелеными язычками чуть проклевывавшейся листвы.

— Смотри,— шепотом сказала мне жена, когда мы подходили к площади, где должен был состояться праздничный ритуал.— Соседи наши.

— Где?— спросил я.

— Да вот же!— Она кивнула в сторону небольшой колонны ветеранов.

Я посмотрел и обмер. Мой сосед стоял в голове колонны рядом со своей женой. Грудь его была в медалях и орденах. Они сверкали под солнцем и негромко позвякивали, когда он оборачивался то к одному, то к другому из стоящих рядом с ним. У его жены тоже были медали, но какие именно, я не разглядел.

— В прошлом году колонна была длинней...— негромко заметила жена.

Я промолчал.

— С праздником!— раздалось за спиной.

Я обернулся. Рядом с неизменным фотоаппаратом на груди стоял Гореликов. Маленькие глазки его оживленно поблескивали.

— Погодка-то какая! А?— радостно проговорил он, потирая ладони.— Не погода, а золото! Снимки получатся— закачаешься! А желающих сфотографироваться— хоть отбавляй... Э-э!— Он уставился на колонну, потом посмотрел на меня, на мою жену, изумленно выдавил:— Да это ж наш сосед! Орденов-то! Надо сфотографировать, обязательно надо! Как ты считаешь? В газету послать... Там за снимки хорошо платят...

— А пошел ты!— процедил я.

Жена испуганно оглянувшись, дернула меня за рукав:

— Ты что, сдурел?! Люди же кругом...

Домой мы вернулись, когда торжественная часть закончилась. На душе было радостно и гру-

стно одновременно. Едва мы успели раздеться и сесть за стол, как к нам позвонили.

— Кто бы это мог быть?— удивленно проговорила жена и пошла открывать.

— Извините,— услышал я негромкий, чуточку хриплый голос.— Мы к вам с просьбой, по-соседски. Не могли бы вы, хоть на минуточку, зайти к нам? Знаете, такой праздник, а мы одни... Уж не откажите в любезности!

— Неудобно как-то...— нерешительно сказала жена.— Вот так, вдруг...

— Мы вас очень просим!

— Ну хорошо.

— Спасибо! Так мы вас ждем.

— Соседи в гости приглашают,— сказала жена, вернувшись в комнату.— Пойдем?— Она вопросительно посмотрела на меня.

— Ты же обещала!— Я пожал плечами.

И вот мы с женой робко входим в квартиру соседей и невольно задерживаемся у порога.

Комната наполнена солнечным светом, на больших цветных фотографиях облака, плывущие по голубому небу. Удивительно белые, причудливых очертаний, они плывут то над лесом, то над озером, то над деревней, то над городом. Я не знаю, что почувствовала моя жена, но мне показалось, что моя душа воспаряет вместе с этими облаками.

— Пожалуйста, садитесь,— сказал сосед, отодвигая один из стоящих у накрытого стола стульев.

Мы сели на предложенные места, не отрывая глаз от фотографий. Облака плыли вокруг нас— по крайней мере возникло именно такое ощущение.

— Нравится?— спросил сосед, с улыбкой глядя на нас.

— Нравится,— искренне ответил я и, вспомнив слова Гореликова о том, что, занимаясь цветной фотографией, можно остаться без штанов, спросил:— Но ведь это, наверное, очень дорогое удовольствие?

Иван Силантьевич усмехнулся, хотел что-то сказать, но из кухни послышалось:

— Ваня, ты не очень занят?

— Извините!— Он вышел.

— Ты что-нибудь поумней спросить не мог?— укоризненно зашептала жена.

— Но...— начал было я.

— Не скучаете, молодые люди?— мягко спросила хозяйка, входя в комнату.

— Ну что вы!— ответил я.— У вас так светло и красиво. И чувствуешь себя очень легко.

— Я рада!— Соседка улыбнулась, села за стол, громко позвала:— Ваня! Тебя ждут.

— Иду,— послышалось из кухни.

— Он у меня всю жизнь такой,— продолжала соседка, накладывая в одну из тарелок винегрет.— Все копошится, копошится!— Поставила тарелку передо мной и взяла другую.

— А вот и я!— появился хозяин.— Давайте знакомиться. Меня величают Иваном Силантьевичем, а мою несравненную супругу Марией Андреевной. А как вас, молодые люди?

Мы сказали.

— Очень приятно!— Он улыбнулся и стал разливать вино.

Когда оно было налито, встал, поднял бокал. Встала Мария Андреевна и мы с женой. Стало тихо и торжественно.

— Давайте выпьем,— негромко заговорил Иван Силантьевич, глядя прямо перед собой.— Выпьем за тех, кто не вернулся, кто погиб за нас с вами.

Выпьем за тех, без кого никогда бы не было на нашей земле этого гордого, этого священного для всех живущих и тех, кто будет жить после нас, Дня Победы!

Мы молча выпили. Некоторые время сидели ни слова не говоря. На улице звучала музыка, слышались веселые голоса, смех.

— Извините меня, Иван Силантьевич,— осторожно заговорил я,— но почему на ваших фотографиях только облака?

— Почему облака?— тихо повторил он, откладывая вилку в сторону.— Почему облака, спрашиваете...— Помолчал, потер виски, задумчиво заговорил:— В сорок третьем это случилось. Я тогда батальоном командовал. Выбивали мы фрицев из одной деревни. Тяжелый был бой. Наверное, самый тяжелый для меня за всю войну. Раз шесть мы в атаку ходили. А день тогда светлый такой был. Пошли мы в последнюю, тут меня и...— Махнул рукой.— Чувствую, что-то крепко толкнуло в грудь. Сознание потерял. Очнулся быстро— бой еще шел. Лежу. Смотрю в небо. А оно голубое-голубое, и по небу— облака. Много облаков и все разные, как дни у человека, и плывут они откуда-то из-за моей головы. Тихо так плывут. Смотрю я на них, а сам загадываю: как проплывет последнее надо мной, так и все... Не дождался— много у нас в России белых облаков...

Он замолчал. Молчали и мы. Молчали и смотрели в окно. Там в высоком голубом небе бесконечной вереницей медленно плыли над землей кулевые облака.

КАК УМИРАЛ СОЛДАТ

В прошлом году я лежал в больнице. Те, кому там пришлось побывать, знают, что лечение— занятие не из приятных, особенно когда лежишь в палате один. Днем еще терпимо: можно послоняться по коридору, зайти поболтать в соседние палаты, покурить в закуточке, но вечером, когда тишина, когда со страшной силой тянет домой и хочется увидеть близких...

Тот день мало чем отличался от всех предыдущих, но ближе к вечеру, когда я, лежа на койке, перелистывал журнал, дверь в палату медленно отворилась и на пороге, поддерживаемый медсестрой, появился пожилой мужчина в халате, тапочках, с носовым платком в руке.

Встретив мой взгляд, он слабо улыбнулся, осторожно, словно боясь выронить из своего тела что-то необыкновенно дорогое, хрупкое, опустился на койку, тихо сказал:

— Спасибо, сестренка.

— Ну что вы!— Медсестра покраснела, мягким движением убрала со щеки прядь волос, попросила:— Вы бы легли, Павел Андреевич. Ну, пожалуйста! Я вас очень прошу.

— Если женщина просит...— Он снова улыбнулся и с ее помощью бережно лег.

— Вот и хорошо,— успокоилась медсестра. Заботливо поправила под его головой подушку, постояла и ушла, плотно притворив за собой дверь.

Стало тихо. Лишь иногда в коридоре слышались торопливые, мягкие шаги медсестер, приглушенный телефонный звонок да с улицы шум проезжающих автомашин.

Молчали. Я стал читать журнал, время от времени поглядывая в сторону соседа.

Он лежал, до подбородка укрытый одеялом, вытянув руки вдоль тела, глядя в потолок, и вдруг разразился выворачивающим нутро кашлем. Кашлял долго, сотрясаясь всем телом, прижав к губам носовой платок.

«Ну и простыл мужик!— с сочувствием подумал я.— Два месяца пролежит. Это уж точно!»

— Такие невеселые дела, парень,— проговорил он, кончив кашлять. Потер грудь ладонью, попросил: — Форточку открой.

— Вы же простужены, Павел Андреевич,— запротестовал я.

— Открой! Весна на дворе. Грех от нее прятаться.

Я открыл форточку, присел на краешек его кровати, заметил:

— Медсестра увидит — неприятностей не обещает!

— Пускай видит,— морщась, перебил он.— На то и форточки, чтоб их открывать. Верно?

— Верно,— согласился я.

— Давно лежишь?— спросил он, помолчав.

— Второй месяц пошел,— неохотно ответил я.— Здоров давно, а врач с выпиской тянет.

— Весна...— уронил он.— Весна, парень...— И вновь разразился кашлем.

Я вернулся на свою койку, взял в руки журнал, но строчки расплывались в наступившем полумраке.

Ту ночь я не спал. Не давал спать сосед: все кашлял, кашлял. Задремал под утро.

Меня разбудил голос врача. Приоткрыл глаза и увидел его сидящим спиной ко мне на кровати Павла Андреевича. Рядом с кипой бумаг в руке стояла медсестра.

— Павел Андреевич,— мягко говорил врач,—

поймите, прошу вас, что операция просто необходима!

— Вам ведь добра хотят, Павел Андреевич,— робко проговорила медсестра.— А вы почему-то отказываетесь.

— Голубушка вы моя!— услышал я усталый, ласковый голос соседа.— Да кто ж от доброты откажется? На доброте мир держится! Но сколько ж меня резать-то можно? А? После Курска — резали, за Одером — резали, после Кенигсберга — тоже...

— Павел Андреевич,— снова заговорил врач,— операция несложная... Хирург отличный. Все хорошо будет. Поверьте!

— Верю, доктор. Я вам очень верю. Но на операцию не согласен... Понимаете, устал я! Да моя жизнь к этой операции и не готовила... Знаю я себя. Вы уж не обижайтесь...

Врач шумно вздохнул, встал, негромко попрощался:

— И все-таки вы подумайте. Я прошу вас.

— Хорошо,— проговорил Павел Андреевич и разразился долгим захлебывающимся кашлем.

Медсестра с беспокойством посмотрела на него, на врача. Тот стоял, напряженно вслушиваясь, покусывая губы. Когда Павел Андреевич кончил кашлять, сказал:

— Так вы подумайте, Павел Андреевич.

— Обязательно, доктор! Я обязательно подумаю.

Врач кивнул медсестре, и они вышли, оглянувшись на пороге.

После их ухода Павел Андреевич долго лежал неподвижно. Лицо его было красным, в уголках глаз блестели слезинки (видно, от кашля). Дышал он осторожно, боясь, наверное, вызвать новый приступ кашля.

День набирал силу. Свет, лившийся в окно, заполнял палату. На карниз, неведь откуда, слетелась шумная ватага воробьев.

— Вот создания! — тихо проговорил Павел Андреевич. — За всю жизнь ни одного шага не сделают, все прыгают, прыгают... И ничего — живут, шельмецы этикие...

В палату вошла медсестра, поправила одеяло у Павла Андреевича, подушку под головой, сказала:

— Солнечно у вас как!

— Весна, дочка! — Ласково посмотрел на нее Павел Андреевич. — Красивая — как ты.

— Скажете тоже! — засмущалась медсестра, густо покраснела и вышла.

Тут же дверь в палату снова отворилась и к нам пожаловал мой давний знакомый из соседней палаты — большой, толстый.

— Здорово, мужики-разбойники! — жизнерадостно проговорил он, переступив порог. — Лежите? Старые вы подосиновики! А я вот командировочную на волю жду. Сегодня должны выписать. Благодать! — Шумно, всем телом, повернулся к Павлу Андреевичу и, словно был с ним давно и близко знаком, спросил: — Давно прибыл?

— Вчера... — По лицу Павла Андреевича было видно, что он рад приходу этого веселого, жизнерадостного человека.

— Хреново! Вот если бы ты недельку-другую назад прибыл, то, глядишь, уже выписывался бы! — И захохотал, запрокинув крупную, небрежно причесанную голову. — А я завтра на рыбалку, — продолжал он, кончив смеяться. — Прямо завтра. За щуками. Ты рыбак? — Он грузно присел на его кровать. Павел Андреевич кивнул. — Значит,

свой человек! Впрочем, сейчас проверим. А ну-ка скажи мне, какую рыбу обзывают Заплатой?

— Леща. — Павел Андреевич улыбнулся.

— А Еврейкой?

— Щуку.

— Верно! — Знакомый наклонился, хлопнул его по плечу, спросил: — Какими блеснами пользуешься — магазинными или самодельными?

— И теми и другими.

— Самодельные лучше.

— Финские лучше, — заметил Павел Андреевич.

— Ясное дело! — Знакомый шумно вздохнул. — Да только где их достать?

— Могу подарить, — просто сказал Павел Андреевич.

Знакомый ошарашенно посмотрел на меня, на Павла Андреевича, неуверенно протянул:

— Шутить? Финские — и подарить? Ну знаешь...

— Какие шутки? — Павел Андреевич серьезно покачал головой. — Такими вещами рыбаки не шутят. Вот дай-ка мне карандаш и бумагу, я жене записку напишу. Она тебе и отдаст.

— Друг ты мой! — заорал знакомый, облапил его своими ручищами, ткнулся губами в лоб. — Да я для тебя!.. Я... Эх! — Выскочил из палаты и через несколько секунд влетел обратно с тетрадным листом и шариковой авторучкой.

— Друг ты мой! — горячо заговорил он, бережно пряча листок в карман халата. — Самая большая щука с первого, со второго, третьего, десятого уловов — твоя. Сам буду приволакивать их тебе в больницу! Да! — спохватился он. — А ты-то сам без них как? Не-е, не возьму... — Рука его

потянулась к карману, в котором лежала написанная Павлом Андреевичем записка.

— Мне не надо...— Павел Андреевич отрицательно покачал головой.— Не рыбак я уже! Здоровье, года... Отыбачил свое... А тебе—самое время по озерам да ламбушкам на утренней зорьке, когда вода—как ртуть, и туман по ней, и тишина, и лес в росе, и костерок—дружок верный...—Закусил губу, отвернулся к окну.

Дверь палаты приоткрылась. Появилось лицо медсестры. Сначала она посмотрела на Павла Андреевича, затем сердито сказала моему знакомому:

— Никонов! Я вижу, вам в больнице больше нравится. Что ж, я поговорю с врачом...

— Иду!— Знакомый быстро поднял руки, повернулся ко мне.— Счастливо! Держи хвост пистолетом!— Павлу Андреевичу:— И ты, друг, держись. Ерунда. Подлечишься малость—и выпышут. Куда они денутся? А щука за мной. Даю слово!

— Записку не потеряй,—тихо сказал Павел Андреевич.

— Надежней паспорта хранить буду!— Знакомый звучно хлопнул себя по карману, приветственно поднял руку и вышел, на прощанье подмигнув нам чуть косящим глазом.

Некоторое время мы не разговаривали, занятые каждый своими мыслями. Павел Андреевич не отводил глаз от окна.

— Помоги встать, — неожиданно попросил он.— А то я что-то совсем сдал свои позиции...

— А если медсестра зайдет? — опасно спросил я, кивая в сторону двери.

— А если Змей Горыныч? — усмехнулся он.— С «если», парень, жить хреново!

Он шел к окну, с трудом передвигая ноги, налегая на меня всем телом. Подойдя, вцепился в подоконник и застыл, жадно глядя на то, что происходит на улице.

— Весна!— в который уже раз заметил он.— Весна, парень!— И, помолчав, с грустью добавил: А весной, говорят, трудно умирать...

— Нашли о чем говорить, Павел Андреевич!— воскликнул я.

— О жизни,—спокойно перебил он.— О жизни, парень.— Еще помолчал.— А хороша весна! Знаешь, она чем-то на весну сорок пятого года похожа. До жизни жадная. Ишь ты какая говорливая, размашистая...

— Кто разрешил?!— раздалось за спиной возмущенное.

Я торопливо обернулся. Павел Андреевич сделал это медленно, как бы нехотя.

На пороге стояла медсестра, старшая.

— Я спрашиваю: кто разрешил?— снова спросила она.

— Не ругайся, сестренка!— спокойно попросил Павел Андреевич, с моей помощью возвращаясь на кровать.— Не кричи. Крик—не лекарство.

— На вас не кричать, так...— смешалась та и, помогая ему лечь, сказала:— К вам супруга. Вообще-то сегодня не положено, но врач разрешил.

— Попробовал бы не разрешить!— нарочито грозно проговорил он, а когда она вышла, добавил:— Видать, мои дела плохи...

Я промолчал. Что я ему мог сказать?

Когда в палату, в халате, наброшенном поверх солнечного цвета платья, вошла его жена, я был уже в коридоре, а вернулся только под вечер.

Павел Андреевич лежал на кровати с газетой в руке.

— Вот гады! — зло произнес он, тыча пальцем в газетную страницу. — Снова атомную бомбу испытывают! Ну не дураки ли? Ведь на одной планете живем. На одной, мать бы их за ногу! — И долго еще что-то ворчал себе под нос.

Эту ночь он почти не кашлял, но и не спал. Просыпаясь, я видел, как в сумраке блестят его глаза.

Утро следующего дня пришло пасмурным. Небо было наглухо затянуто серостью, и шел мелкий неторопливый дождь. На карниз, срываясь откуда-то сверху, размеренно падали капли. В палате было свежо. Хорошо дышалось.

— Доброе утро! — приветствовал меня Павел Андреевич, когда я, сонный, подошел к окну. — Дождичек! — продолжал он. — Это хорошо. Весь снег съест да еще добавки попросит.

— Доброе утро, — отозвался я. — Как настроение? Здоровье?

— Настроение хорошее. А здоровье — дышим помаленьку, на страх врагам.

После завтрака пришли врач и медсестра.

— Завтра или послезавтра, сказал он, мельком взглянув на меня, — выписываем.

— Спасибо, доктор! — обрадовался я.

Но он, не обращая на меня внимания, присел на краешек койки Павла Андреевича.

— А как самочувствие у нас?

— Отличное! — излишне бодро воскликнул Павел Андреевич.

— Вот и прекрасно. А как насчет операции?

— Нет, доктор. Я уж как-нибудь без нее...

— Павел Андреевич... — укоризненно проговорил врач.

— Дорогой доктор... — в тон ему ответил Павел Андреевич. — Я же взрослый человек... И что к чему, худо-бедно, но понимаю...

— Слишком много вы понимаете, Павел Андреевич... И все же подумайте еще. Договорились?

— Договорились.

— Ну а теперь мы вас обследуем.

Слушали его долго. Измерили давление. Врач просмотрел какие-то бумаги и хотел еще что-то спросить, но Павел Андреевич опередил его:

— Я подумал, доктор!

А когда врач с медсестрой вышли, задумчиво заговорил:

— Станные люди! Чем дальше от войны, тем странней становятся. Ведь прекрасно знают, что операция мне не поможет, так нет, цепляются за «а вдруг», «а если»... — Он посмотрел на меня. — Так не годится. Мирная жизнь — это тоже война. Может, даже жестче, чем прошедшая. Только ведется она другими способами. Я к чему тебе все это? А и сам не знаю. Поговорить хочется. Ну сам посуди! — Он приподнялся на локте. Зачем мне умирать под наркозом, ни о чем не думая напоследок, как собака, которую усыпляют? Не-ет! Да и устал я сражаться. У каждого человека есть предел сил. Мои силы на исходе. Чего уж тут... Такие дела, парень...

— А как же ваша жена? — робко спросил я.

— Жена? — Он вздохнул. — Мы с ней всю войну вместе прошли. Она меня любит, а значит, и понимает. Ведь крути не крути, а кто-то из нас должен уйти первым. Случилось так, что первым уйду я, оставив ее одну. Вот это действительно жестоко, и все же это — жизнь! Видишь, как я умею мудро говорить. Подожди! — Он подмигнул. — Скоро лозунгами заговорю. Знаешь что?

Достань-ка чайку! А то меня снова кашель давит, начнет.

В тот день он кашлял почти непрерывно — до слез, до яростной ругани, но ближе к вечеру кашель прекратился, и медсестра, что не отходила от его койки ни на шаг, облегченно вздохнула.

— Замучил я вас, — извиняюще проговорил он, обращаясь к ней. — Извини, сестренка, непогода в груди. Больше не буду! Кажется, все выкашлял. Теперь у меня там, — постучал пальцем по груди, — пустота...

Ночью я несколько раз просыпался, на цыпочках подходил к его кровати, прислушивался — он спал, и дыхание его было ровным, свободным.

Утро следующего дня встретило нас веселым небом, чириканьем воробьев.

— Добрый день, Павел Андреевич! — весело сказал я, надевая больничный халат.

— Добрый... — тихо произнес он. — Куда собрался?

— Пойду напомним медсестре, что пора оформлять меня на выписку. А то вдруг да и забудет...

— Сходи, сходи, — проговорил он, не сводя с меня глаз.

Когда я вернулся в палату, там уже лежал новый больной. Его положили на койку, что стояла напротив моей. Форточка была закрыта. Врач устало успокаивал новенького:

— Я же вам говорю, что ничего страшного! Ничего! Понимаете?

— Не вас резали — вам и не страшно, — жалобным голосом отвечал больной. — Вам что? Разрезали, зашили — и с плеч долой! Вам чего? А у меня боль... Мне еще тридцати нет. Я жить хочу!

— Ну так и живите себе на здоровье. Кто вам мешает?

— Живите... — заслынивший новый больной. — А операция? Я же не глухой, слышал, как вы говорили: опухоль!

— Доброкачественная опухоль! — Врач потер лоб. — Доброкачественная! Вам знакомо это слово?

Широкое постное лицо лежащего на койке мужчины подернулось недоверчивой гримасой:

— У вас все доброкачественное! А откуда же тогда мертвые берутся?

Вероятно слово «мертвые» привело его в ужас, потому что он зарыдал. Зарыдал по-настоящему, в голос, закрыв лицо руками:

— Я жить хочу! У меня жена молодая! У меня перспективы!

— Дайте ему валерьянки, — бросил сестре врач и вышел — быстро, не оглядываясь.

— Слушай, ты, гнида! — громко и яростно проговорил Павел Андреевич, с трудом приподнявшись на локте. — Я б тебя, слякоть... А тебя, сволочь, лечат! А зачем? — Он посмотрел на медсестру. — Ведь выйдет из больницы — такой же слякотью и останется.

Медсестра ничего не ответила, засуетилась беспричинно и ушла.

— Как с тобой жена-то живет? — с трудом сдерживаясь, спросил Павел Андреевич, когда мужик жадно выпил валерьянку. — Я б на ее месте отхлестал тебя по щекам да ногой под задницу...

— А это не ваше дело! — жалобно ответил тот и вновь застонал.

— Да ведь не больно тебе, — заметил я.

— Больно! — выкрикнул он.

— О господи! — пробормотал я.

Он стонал целый день и вечер. Медсестра устала бегать к нему. Опытная, наверное бы, не уделяла ему столько внимания, но в эту смену работала молоденькая, недавно поступившая, и на лице ее была такая искренняя жалость к этому слабому, малодушному человеку.

— Да хватит тебе с ним нянчиться! — сказал я, жалея ее. — Ни черта с ним не сделается! Придуряется больше.

Она посмотрела на меня осуждающе, прошептала:

— Как вы так можете? Это же больной!

— Дурной он, а не больной! — напрасно убеждал я ее.

Заснул я уже поздно ночью. Разбудил меня голос Павла Андреевича, от которого мне отчего-то стало не по себе.

— Эй! — негромко позвал он. — Ты спишь?

— Нет, — шепотом ответил я, покосившись на нового соседа. Тот спал, пуская слюни в подушку.

— Иди сюда.

Я подошел, присел на край койки.

— Только не шуми, — тихо проговорил Павел Андреевич. — Положи свою ладонь на мою. И главное — не шуми, чтоб этого не разбудить. Слушай, парень: ухажу я.

— Куда? — глупо спросил я, зная, что он имел в виду.

— Туда, парень... — шепотом сказал он. — Молоденькой сестренке не говори... Скажи той, которая постарше... И чтоб тихо меня отсюда... А то этот проснется... Пугливый... Какой ни есть, а человек... Понял?

Я кивнул.

— Вот и хорошо...

Я сделал так, как он сказал.

Когда его хоронили, я был уже выписан из больницы.

Он лежал в гробу такой же, каким я его видел в нашей палате. Только вместо больничного халата на нем был пиджак, а на пиджаке медаль «За Победу над Германией».

ГЕРАКЛ

— Гера, вставай! Да вставай же! Тебе говорю!

Гера с трудом приоткрывает слипающиеся веки и видит над собой доброе, усталое после бессонной ночи лицо тети Оли — вахтерши.

— Да встаю я, встаю, — неохотно бормочет он, натягивая одеяло на голову.

— Вот и вставай, — не отстает та. — Нечего свою лень-матушку в силу вводить. А то, вишь, — она всплескивает руками, — до полуночи шлендал невесть где, а как на работу идти, так...

— Да не шлендал я, — вяло оправдывается Гера, отрывая лохматую голову от подушки. — У Мишки Морозова в машине кардан застучал. Пришлось менять.

— Постучал бы да и перестал. Не век же ему стучать-то. Вот помню: мой покойный муж... — тетя Оля прикладывает палец к губам, морщит лоб. — Кажись, третий... Говаривал, что хороший стук всегда наружу вылезет.

— Это уж точно, — хмуро соглашается Гера, опуская ноги на пол. — Вылезет.

— Вот и я говорю, что вылезет, — продолжает тетя Оля, довольная тем, что обычно упрямый Гера с ней согласился. — Ты больше меня, старую, слушай. Я плохому не научу и плохого не скажу.

Я в жизни-то всякого видела-перевидела! — И уходит, плотно притворив дверь.

Некоторое время Гера сидит на кровати неподвижно, глядя в одну точку. Затем, словно делая кому-то великое одолжение, натягивает спортивные штаны, поверх штанов — брюки. Надевает рубашку и подходит к окну.

Оно плотно разрисовано морозом, но на самом краешке есть маленькое пятнышко проталинки, которое Гера тщательно бережет, натирая почти каждый день солью.

В проталинку можно увидеть самое главное: градусник и рабочую столовую. Столовая открыта — это хорошо, но на градуснике минус тридцать — это уже ни к черту, и Гера негромко, но выразительно, как это умеют делать только шоферы, матерится, поминая недобрым словом бога и всех его близких и дальних родственников до самого последнего колена.

— Сидишь там, старый пень, амброзию да нектар хлещешь, — яростно говорит он, напяливая поверх рубашки толстый шерстяной свитер. — А тут в холодрыгу катить надо за полтора-два километра. Чтоб тебе...

Но богу чихать на все сказанное в его адрес. Менять Гере жизненные обстоятельства он, похоже, не собирается. Гера это понимает и начинает энергичнее собираться на работу: надевает утепленные кирзовые сапоги, полушубок, меховую шапку, отчего его узкое лицо становится еще продолговатей и приобретает какое-то скорбное выражение, гасит в комнате свет и выходит.

— С богом, милый! — говорит тетя Оля, принимая ключ.

— С богом... — передразнивает Гера, ожесточенно вытаскивая из кармана меховые рукави-

цы. — Твоего бога в такую холодрыгу и за уши не вытащишь. Он, гад, тепло любит. Райские, так сказать, кущи. Чтоб у него... — Гера кашляет в кулак. — Чтоб его ревматизм стукнул! Так и передай ему, многоженцу сопливному!

Почему «сопливому», Гера не знает, так выкалось.

Тетя Оля силится что-то сказать в защиту всевышнего, но Гера, толкнув дверь ногой, уходит в холод.

Мороз нешуточный. Над городом висит туман. Свет фонарей матов. Кажется, что даже такси проносятся быстрее обычного — не в надежде ли убежать от мороза или согреться?

Гера поднимает воротник полушубка и топает в столовую. Она рядом, через дорогу.

В столовой тепло, много света и почти нет народа.

— Ну чем ты меня сегодня кормить будешь? — спрашивает он у раздатчицы, ставя на поднос стакан компота. — Сразу предупреждаю, что ни каши, ни курицы есть не буду.

— А утку с вермишелью, надеюсь, будешь? — Она улыбается, клонит голову к плечу.

Гера закусывает губы, нарочито морщит лоб, тянет:

— Ну-у, если утку, тогда...

Ест Гера не спеша и плотно. Позавтракав, покупает в буфете бутерброды с колбасой, сует их в карман, машет рукой сероглазой раздатчице, перед дверью старательно натягивает шапку и выходит из столовой.

До работы недалеко.

Сунув руки в карманы полушубка, поглядывая по сторонам, он неторопливо идет по улице.

Рядом с ним, от фонаря к фонарю, покорно следует его тень.

Гера работает в киносети шофером. Развозит банки с киноплёнкой по району. Машина его, изрядно потертый временем «ГАЗ-69», всегда на ходу. Герин маршрут, в отличие от маршрутов его товарищей-шоферов, самый трудный. Это признают все, даже директор киносети. Труден он из-за извилистой, со множеством затяжных подъемов (тягунов) дороги, по которой машины, кроме почтовой, почти не ходят. Труден еще и потому, что расстояние между населенными пунктами превышает сорок километров, а пунктов — три.

На работу Гера приходит своевременно. Хорошо, что и общежитие, и столовая, и гараж рядом. Гараж стоит сразу за кинотеатром. Сквозь щель в двери выбивается узкий яркий лучик света.

В гараж Гера входит вместе с густыми клубами морозного пара. Здесь тепло. Пахнет бензином, маслом. Под невысоким потолком горит мощная электрическая лампочка. Рядком стоят три машины — близнецы.

— Саня! Привет! — весело и громко говорит Гера, подходя к месту для курения и протягивая руку сидящему на скамейке Сашке Ступову невысокому, худощавому, как и Гера, парню.

— Привет, Геракл! — охотно отвечает тот. Пожимая руку, кивает в сторону двери, говорит: — Жмет, зараза!

— Озверел! — соглашается Гера и садится рядом.

Гераклом ребята прозвали Геру за его чрезмерное, как им казалось, увлечение древнегреческой мифологией. При каждом удобном случае он с увлечением рассказывал о богах и героях: Про-

метее, Зевсе, Артемиде, но больше всего — о подвигах Геракла.

— Во мужик был! — восклицал он. — Надежный. Смелый. С таким можно хоть на край света!

— Еще бы! — возражал Сашка. — Если б у меня отец с матерью богами были, то и я был бы ничуть не хуже его.

— Они не помогали ему в подвигах, — горячился Гера. — Он сам. Понимаешь — сам!

— Но и не мешали, — продолжал возражать Сашка. — К тому же с такой силищей, как у него, и я бы черт-те что совершил.

Гера горячился еще больше. Принимался почти дословно пересказывать весь миф к большому удовольствию ребят — уж куда интересней послушать про богов, чем пустую болтовню о том, что и так давно известно.

Сегодня у обоих что-то нет настроения для разговора. Некоторое время сидят молча.

— Слышь, Геракл? — нарушает молчание Сашка.

— Ну? — Гера поворачивается к нему лицом.

— Ты того, возьми с моей машины антифриз. Мало ли... Маршрут у тебя препротивный, а мороз...

— А ты как?

— Мне легче, — отмахивается Сашка. — У меня дорога оживленная. Вывезут, если что...

— Спасибо, — говорит Гера тихо.

— Ерунда, — бурчит Сашка, стягивая с головы шапку и приглаживая белесые волосы. — Мы ж свои ребята. Ну что, перельем?

Они в четыре руки переливают антифриз из одной машины в другую.

— Банки погрузил? — интересуется Сашка, когда они снова усаживаются на скамейку.

— Погрузил.

— Картины хорошие?

— Разные...— Гера пожимает плечами.— Одна — про блокадный Ленинград, другая — про любовь, третья — детектив.

— Про любовь — это интересно, — оживляется Сашка. — Любовь — она двигатель всего земного. Не любил — значит, не жил. По себе знаю. Чего ты улыбаешься? — Он хмурит белесые брови. — Я серьезно, а он зубы скалит! — И обиженно отворачивается.

— Это я так, — примиряюще говорит Гера. — Ты не обижайся.

— А я и не обижаюсь! — Сашка дергает плечом, охотно возвращается к интересующей его теме: — Вот, помню, до армии у меня девчонка была... Не девчонка, а... Глаза — луковицы, ресницы — как сети, а губы — как две карамельки. Точно тебе говорю! — начинает ершиться он, заметив Герину улыбку. — По улице пройдет — все ребята налево и направо снопами валятся. Одно плохо — была! — Сашка шумно и честно вздыхает.

— Почему же «была»? — с интересом спрашивает Гера.

— А-а! — Сашка тускнеет лицом. — Дурью маялся. Ума было... — Он стучит согнутым пальцем по краю скамейки. — В счастье, сам знаешь, всегда с трудом верится, даже сейчас, а уж в том возрасте... — Махнул рукой. — Ну, я и решил проверить, счастье оно мое на самом деле или так — показуха одна.

— Зачем? — удивился Гера.

— А черт его знает! — Сашка морщится. — Решил — и все.

— И как же ты надумал это сделать?

— Друг у меня был. Ну не друг, а так... —

Сашка повертел растопыренными пальцами. — Я возьми да и попроси его поцеловать ее.

— А он?

— А он ей все рассказал. И с той минуты — всё! — Сашка рубит ребром ладони воздух. — Как обрезало. Я уж и так, и этак!

— Морду ему надо было набить, — зло говорит Гера.

— Набили! А толку? — Сашка вздыхает, но через секунду расплывается в широкой улыбке. — А вчера я с девчонкой познакомился! Не девчонка, а ртуть. Внешность...

Сашка не договаривает. Дверь гаража распаивается и появляется Мишка Морозов.

— Привет, шоферня! — весело кричит он. — Мороз-то, мужики! А? Не мороз — а суровый закон! Курить есть? Давай закурим! — Он плюхается на стоящий напротив скамейки табурет, смотрит на Геру, сочувственно говорит: — Достанется тебе сегодня, Геракл! Вот бы где бог не помешал... Да не твой, греческий, а наш, шоферский. На худой конец хоть на молитвах бы выкарабкаться, если что. Верно?! — Он подмигивает.

Рожца у Мишки — из-за щек ушей не видать.

— Не каркай! — хмуро роняет Сашка. — На-кличешь еще...

— Да я чего, ребята? Я так! — торопливо говорит Мишка. — Я ж от настроения... Курить будете?

Сашка закуривает протянутую сигарету. Закуривает и Мишка. Гера вообще не курит. Бросил, на спор.

Замолкают. Становится тихо. Лишь еле слышно потрескивает табак на кончиках сигарет.

— Пора уже, — неохотно роняет Гера, взглянув на часы.

Мишка морщит нос, лениво поднимается, раздраженно бурчит:

— Везет же некоторым! Сидят себе сейчас дома и на мороз этот через окно смотрят да чай попивают. А то лежат на кровати да детективом захлебываются, балдеют.

— Сейчас и ты забалдеешь! — обещает Сашка с коротким смешком. — Так забалдеешь, что... — не договаривает. Сбрасывает крюк с ворот, налегает плечом на одну из половин, и та, скрипя по черствому снегу, туго ползет в сторону.

Клубы холодного пара наполняют гараж. Лампочка под потолком желтеет.

Гера садится в машину, устраивается поудобней, говорит:

— Ну, дружок мой, поехали!

Двигатель заводится с пол-оборота.

— Молодец! — ласково говорит Гера. Включает скорость и медленно выезжает из гаража.

Выехав, открывает кабину, громко говорит:

— Ну, ребята, я покатил. Если задержусь — не волнуйтесь.

— Ладно! — Сашка кивает.

— Счастливо, Геракл! — Мишка машет рукой, ободряюще подмигивает.

Маршрут Геры начинается с затяжного подъема. Метров за сто до него он разгоняет машину, вдавливая в полик педаль газа, бормочет:

— Ну, дружок, давай!

Послушный «газик» бойко одолевает подъем. За подъемом — спуск с поворотом, затем снова подъем, но короче и не такой крутой.

Гера привычно ведет машину. Дорога пуста. По обеим сторонам ее лес. На широких ветках деревьев рысьями лежит снег. Свет фар нетерпеливо стремится вперед, заглядывает за приближаю-

щиеся повороты, выщелкивает из снега разноцветные искорки. Луна, будто начищенная до блеска, появляется то с левой стороны дороги, то с правой.

Маленький «газик» одиноко мчит в холодном зимнем сумраке, везя в засыпанные снегом поселки киноленты о теплых странах, о горячей любви, о жутких и темных, как глубина ночного леса, историях.

— Тра-та-та, тра-та-та, — негромко напевает Гера, внимательно следя за дорогой, — мы везем с собой кота...

Слуха у Геры нет, голос тонкий, вибрирующий.

— С твоим голосом сидеть на капоте «Запорожца» вместо звукового сигнала, — сказал как-то Мишка.

— А с твоим — в туалете! — огрызнулся Гера. — И кричать: «Занято!»

Но Мишка и Гера друг на друга не обиделись — не со зла говорили, просто трепались. Все-таки, как ни крути, а одна работа, одни трудности. Сейчас поругаешься — а через полчаса помогать будешь. Одним словом — шоферы. Им без мужской, иному не понятной, грубоватой на вид дружбы — гроб с музыкой.

Дорога широкая, чистая, со следами гусениц по самому краю — верно, протащили «угольник». Протащили давно, видимо, две недели назад, когда больше суток падал крупный снег.

Гера смотрит на часы, вглядывается в проскользнувший мимо километровый столб, покачивает головой — до деревни еще добрых пятнадцать километров. Впрочем, пятнадцать — это цифра для лета, а зимой по внутреннему шоферскому напряжению здесь все тридцать километров. Удлиняются они из-за невольного опасения за жизнь двигателя. Техника есть техника. Попробуй угадай, что

у нее внутри происходит! Иной раз такое случается! И за уровнем масла следишь, и регулировку во время проводишь, и ТО, а он возьми, да и... Вот и едешь, прислушиваешься к его работе, как к шепотом сказанным словам.

Гера в который уже раз вспоминает слова мачехи, сказанные ею при его уходе в армию:

— Возвращайся, Герочка, если душа тебя к дому потянет. А мы с отцом ждать будем.

Не вернулся. Написал отцу, что, дескать, так и так, едет на родину к другу, где будет работать шофером. Выслал отцу свою морскую тельняшку и курительную, купленную за границей, трубку. Мачехе, большой любительнице посуды, — чайный сервиз, приобретенный там же, за границей. И все. Теперь общаются только через письма. Грустно... Но что поделаешь? Жизнь у отца и так нелегкая. Мачеху, какая она ни есть, — любит. За чем мешать?

Снова подъем — крутой, трудный. «Газик» взбирается на него уже не так бойко. За подъемом спуск — ошалеть можно! В самом конце его слева у бровки — железный крест, поставленный на месте гибели шофера, молодого и, говорят, очень веселого парня. Рассказывают, что ехал он на своем ЗИЛе, под завязку груженном кирпичом, а бровкой дороги — школьники, урок биологии проводили или еще что... И кой черт одному из пацанов потребовалось на другой стороне дороги — то ли бабочку красивую увидел, то ли цветок. Побежал! А шофер тот не руль, а жизнь свою — круто влево...

Проезжая мимо креста, Гера, как и всегда делал, три раза просигналил. Будто разбуженный протяжными звуками, сорвался с повисшей над крестом еловой лапы мелкий снежок.

Подъемы, спуски и повороты на время кончились, и дорога, словно отдыхая от них, растянулась, блаженствуя. Гера прибавил скорость.

Деревня о своем приближении заявила маленькой, давно без дела стоящей церквушкой с огромной, в четыре обхвата, елкой у входа. Вокруг церквушки хилый забор. За забором массивные кресты, памятники. Глухой безнадежностью веет от всего этого. И в свете фар Гера лишь мельком взглянул на церковный погост.

За церквушкой дорога круто сворачивает вправо, затем таким плавным разворотом налево и бежит по единственной улице. Здесь, нахлобучив зимние шапки-крыши, присев в снег по самые завалинки, стоят выдавшие и не такие морозы избы.

Гера катит вдоль них, поглядывая по сторонам. У колодца, к которому протоптано множество тропинок, сворачивает к огромной пятистенной избе. Свет фар упирается в прищипленную к ее темной стене афишу: «Сегодня в клубе будет показана кинокартина «Жила-была девочка». Начало сеанса в 19-30».

— Все правильно, — говорит Гера и сигналил.

Тонкий, с чуть заметной хрипотцой звук выводит из терпения маленькую лохматую собачонку, и она, погружаясь по живот в глубокий снег, напрямик несется к машине, заливаясь злобным, протестующим лаем — сердится из-за нарушенного покоя.

— Ну чего ты, чего? — говорит Гера. Вылезает из кабины, приседает на корточки. — Чего гвалт подняла?

Собачонка, удивленная ласковой интонацией, непривычной позой человека, останавливается в отдалении, гавкает еще раз, видимо, для поддержа-

ния своей собачьей чести, и, оглядываясь, трусит обратно.

В избе напротив хлопает дверь, раздаются частые шаги, и к машине, одной рукой поддерживая полы пальто, а другой вязаный платок, спешит невысокая девушка.

— Здравствуйте!— певуче говорит она, смущенно улыбаясь.— А я, знаете, чуть не проспала.

— Наверное, с парнями гуляла?— шутливо спрашивает Гера, доставая банки с кинолентой.

— Ну что вы!— Девушка машет рукой, отворачивается.— В такой мороз разве погуляешь?!

— А как спадет?— улыбается Гера.

— Да ну вас!— начинает сердиться она и направляется к клубу. Гера— за ней.

На двери замок. Девушка дует на озябшие пальцы, вопросительно смотрит на Геру.

— Давай я,— говорит он.

В маленькой комнатке киномеханика холодно. Вода в ведре замерзла. В стакане коричневый лед. Возле сложенной из кирпичей печурки небольшая вязанка дров.

— Да-а...— тянет Гера и смотрит на девушку.— Холодно у тебя здесь, Катюша.

Девушка вздыхает, сует ладони в рукава пальто.

— Подожди,— говорит Гера,— я сейчас...

Дровяник за избой. К нему ведет узкая тропинка. Справа и слева от нее лежат выскользнувшие при переноске поленья.

Гера набирает огромную охапку и, выглядывая из-за нее, осторожно возвращается назад.

— А вот сейчас в самый раз!— говорит он, с грохотом бросая дрова у печки.— А то принесла два полена... Теперь растопим. Дрова сухие. Ну вот,— удовлетворенно роняет он, когда в печи на-

чинает бойко шнырять язычок пламени,— сейчас от поленья возьмет в оборот!

— Спасибо вам,— говорит девушка, зябко поводя плечами.— Остальные печи я уж сама... Согреюсь вот только...

— Спасибо-то оно спасибо,— с нарочитой серьезностью говорит Гера,— а целоваться на морозе нельзя. Вишь, все губы обметало! Да шучу я, шучу! Целуйся на здоровье и на свадьбу не забудь пригласить. Договорились? На свадьбу-то я тебе самую развеселую картину привезу! Хорошо?! Ну, счастливо!

— До свидания,— улыбается девушка.— И вам счастливо!

У порога Гера оглядывается. Девушка сидит на корточках перед печкой, протягивая к огню красные озябшие руки.

«С такими пальчиками,— думает Гера, спускаясь с крыльца и направляясь к машине,— только секретаршей у большого начальника работать. На пишущей машинке барабанить да на телефонные звонки отвечать, а не дрова таскать. А то на месте секретарш у начальников часто сидят не женщины, а настоящие кубометры. Их и трелевочниками с насиженного места не вытащишь».

Посветлело. На востоке проступило красное зарево. На этом фоне каждая иголка— как на ладони. И не теплом тянет от него, а холодом, настороженностью. И все ж ехать стало веселей, интересней.

Белая лента дороги. Лес, лес и лес. И вдруг справа обширным озером— поле с заснеженными конами сена, похожими издали на склонившихся над лункой рыбаков.

Гера вспоминает, как он с Мишкой, этим баламутом, пошел на рыбалку. Повел Мишка. По

дороге расхваливал заветное озеро взахлеб. Окуни там, говорил, сытые, разомлевшие, но жадные до одури: цапают, еще и мотыля на крючок насадить не успеешь. Поймаешь, — расписывал Мишка, — вытащишь на белый свет, воткнешь в снег головой — и ждешь, когда он застынет. А потом — струганину... Вкуснятина!

К озеру шли лесом. Вышли. Стал Гера до льда добираться, чтоб лунку просверлить, а под снегом — земля! Натуральная земля! Мишка стал оправдываться: мол, не на ту тропинку свернули... Умолял ребят не рассказывать. Засмеют. И смеяться будут не день, не два, а пока он, Мишка, будет жить в этом городе.

Гера улыбается. Не рассказал он ребятам об этой истории. Зачем? Ребятам — смех, а Мишке — конфуз.

Дорога, дорога... Белая... Пиши на ней, что хочешь, а если сказать нечего, — лучше молчи. Другие скажут, но не за тебя — так говаривал старый шофер Николай Егорович, тот самый дядя Коля, у которого Гера учился премудростям шоферского дела.

А ежели сказать нечего — не твоя это работа! Бросай, пока бед не натворил, а не то скинет тебя дорога в один прекрасный день, да так, что если не в милицию, то в больницу... Это уж точно. Не любит дорога мелких, скрытных, подлых. Ей люди простые нужны, душой широкие, честные, как она сама. Есть на ней, предположим, колдобина, так вот она — на виду. Проглядел ее — сам виноват, сам и расплачивайся. Дорогу, как и человека, понять надо. Иная с виду широкая, укатанная, первой категории, так сказать, а на ней ледок, к примеру. Не заметил, накатил — и, если с управлением не справился, закувыркаешься...

Все это Гера помнил всегда.

Он посмотрел на километровый столб, стороной объехал жадно оттопыренную губу обрыва и подкатил к рабочему поселку.

Здесь не то что в деревне — людно.

Поселок большой, приземистый и без лишнего шума. И люди в нем живут на поселок похожие — малоразговорчивые, простые, доверчивые. Это и понятно: на лесной работе много не поговоришь. Особенно зимой. Лес, он сосредоточенности требует, внимания. Раскрыл рот — вот и калека или близко к этому. Именно так, скупое и ясно, говорил с Герой вальщик Матвей Симаков, когда он привез давно обещанную ему кинокартину «А зори здесь тихие».

— Правдивая картина, — покашливая в огромный волосатый кулак, делился Матвей с ним своим мнением. — Ничего лишнего. Только сердце. А то сейчас в картинах больше сюсюканья да тягучки. Помню, недавно больше трех минут показывали, как теплоход по Волге плывет. А зачем, спрашивается? Ну плывет и плывет. Тьфу! Точно тебе говорю, — добавил он, хотя Гера не возражал. — Сам, наверное, такие картины видел.

Поселковый клуб недалеко от магазина, на небольшой возвышенности. От магазина к клубу и снегу вырублены ступеньки. Они тщательно посыпаны крупным желтым песком.

Гера сигналит и выходит из машины.

Солнце поднялось над вершинами деревьев. Красное, тугое. Дым из труб над домами поднимается строго вверх. На снегу тени, тени.

— Здорово! — говорит подошедшая Наталья Борисовна — киномеханик. Протягивая широкую, как у мужика, ладонь, строго спрашивает: — Что в этот раз привез?

— Индийский. Про любовь,— отвечает Гера, поднимаясь следом за ней по ступенькам с банками в руках.

— Снова про любовь,— роняет Борисовна. Морщится.— Надоело уже. Об этой любви столько переполнено, перерассказано, что и не очень верится в то, что есть она на самом деле. И так эту любовь крутят и этак... Как у нее, бедной, голова от этого вертения не закружилась? Будь я на ее месте, плюнула бы на все и сбежала куда глаза глядят. Что улыбаешься? — сердито спрашивает она.— Сам не любил, а улыбаешься. погоди, за-улыбаешься еще аж до слез ах до ружья двуст-вольного...

— Почему двуствольного? — пряча улыбку, серьезно спрашивает Гера, пока Борисовна один за другим открывает два висячих замка.

— А чтоб надежней! — отвечает она, не оборачиваясь.— С одного ствола осечка, так другой не подведет. Как у моего дураля... Прости меня, господи! — Неожиданно всплескивает руками: — Нет, ты только подумай! Застрелился, ирод! Сам на тот свет ушкандыбал, а меня с тремя детьми оставил... А почему, знаешь?

Гера отрицательно качает головой.

— А потому, что дурак! — веско роняет Борисовна, открывая дверь в кинобудку.— Ему, видите ли, кто-то сказал, что я с главным инженером трали-вали развела... Ты догадываешься, что имеется в виду? Догадываешься. По рожице твоей вижу. А какие там трали-вали?! — Она пренебрежительно машет рукой.— Должность у него солидная, а сам хлюпенький. А дурак-то мой возьми да и поверь. Нет бы сначала себя с ним сравнить... Ну да бог с ним! Остальное — ерунда. Ну чего ты улыбишься? Прости меня, господи! Ставь банки

сюда. Да снег с сапог стряхни. Не тебе мыть да убирать...

Гера ставит банки на пол, послушно сметает веником снег, оглядывается.

Стены кинобудки оклеены афишами. На большинстве из них артисты-мужчины. В кинобудке тепло. Сквозь неплотно закрытую дверь печки видно, как мерцают в углях крохотные огоньки.

— Про любовь... — все не может успокоиться Борисовна.— А спроси у кого, что такое любовь — напомнит невеста что. Как слова найти — так не могут, а как картины снимать да показывать — пожалуйста. Про чужую любовь, видать, легко рассказывать. А что? Не своя же. Вот про мою, например, попробуй красиво расскажи. Полюбила, дура, а спроси, за что, руками разведу, как птица крыльями при взлете. Развести-то разведу, а не взлечу. Да разве бя вышла за него, знай, что он себе пригоршню дрови в грудь вгонит?! Ой, не женись ты, Гера! Ой, не женись! Вы, мужики — дураки, а уж мы, бабы — и того хлеще. Нам ведь, ежели сказать честно, положила руку на сердце, не угодили! Будь ты хоть того лучше, а здесь — она положила ладонь на высоко вздымающуюся грудь, — свербит, свербит... Все хочется сделать что-нибудь такое-этакое. Прости меня, господи, если ты есть на свете... — Поддергивает уголки платка, оглядывает свое хозяйство, решительно говорит: — Пошли! Мне еще своих кормить надо. Вроде бы и выросли, а как птенцы: только глаза раскроют, в рот уже совать пищу надо. Уж скорей бы на свои хлеба перебирались...

У машины Геру ждет высокая старуха в валенках, фуфайке, в большом, завязанном на спине углом платке. Увидев Геру, она широким мужским шагом идет ему навстречу, громко говорит:

— Слышу, гудит. В окно глянь — а это ты приехал. Дай, думаю, сама пойду. Чего человека зря утруждать? Здравствуй, милый, здравствуй!

— Здравствуйте, Анастасия Федоровна, — говорит Гера. — Как здоровье, как жизнь?

— А как здоровье, так и жизнь, — словоохотливо отвечает старуха. — Семеню по жизни. Где шажок, а где и шаг. Иначе нельзя, милый, — неучена...

— Все ясно, — говорит Гера, доставая из кабины маленький чемоданчик. — Вот привез, что заказывали.

— Неужто привез?! Вот спасибо! А я уж грешным делом подумала, забудешь.

— Обижаешь, Федоровна, обижаешь! — Гера укоризненно качает головой. — Не ожидал я от тебя, не ожидал!

— А ты извини, извини, ежели не трудно, — быстро говорит старуха, не сводя глаз с чемоданчика. — Стара я стала. Ой, стара да недоверчива.

— Ладно, — говорит Гера, — уговорила, извиняю. Ну вот тебе «Дунькины радости». — Он протягивает ей кулек с «подушечками». — А это овсяное печенье. Вот глазные капли. Вот сдача.

— Спасибо, милый, спасибо! — бормочет старуха, шустро распахивая все по карманам. — Смотри-ка ты, и сдачу привез! Правильно ль сдали-то?

— Правильно.

— А то я продавцов знаю! — говорит она, бережно принимая мелочь в протянутую ладонь. — Так и норовят обвешорить. Вот, к примеру, наша Клавдия. Давеча захожу, говорю, дай мне, Клавушка, конфет, что подешевле, грамм сто. Взвешивает она и говорит: «Шестьдесят пять копеек». Я аж глаза вытаращила. Виданное ли дело: почти рубль за сто грамм!

— Шоколадные, наверное, были, — замечает Гера, залезая в кабину.

— Так все равно, — изумляется старуха, — что шоколадные, что нет — сладость-то в них одна! Что на свете делается! Иль вот...

— Пора мне, Федоровна, — говорит Гера. — Ехать еще далеко. Ты лучше скажи, может, приесть что надо?

— Надо! Как же это не надо-то? — всполошилась старуха. — Человеку всегда что-нибудь надо. Особенно, когда один живет да здоровье позволяет.

— Ну так что тебе? — нетерпеливо спрашивает Гера. — Говори.

— А привези-ка ты мне вот что... — Она шевелит губами. — Привези-ка ты мне этого, ну чем голону-то свои моют... Внучка моя этим все время голову свою бестолковую пенит.

— Шампунь, что ли?

— Во-во, пунь-пунь, — улыбается старуха. — Да самого красивого, пахучего. Чтoб заграничный! Я ужo внучку-то свою подразню, подразню! Деньги-то счас дать аль потом? — спрашивает она, неохотно отправляя руку в карман.

— Потом, — говорит Гера и вздыхает, зная, что старуха полностью денег за покупку не вернет. Чем дороже заказ, тем больше у нее недоверия к пенe. Да оно и понятно: на ее пенсию не разгонишься... А поселковые говорят, что когда в силе была, когда работала, в деньгах от нее никому отката не было...

Солнце, как по желобу, катится к западу. Небо чистое, голубое и гладкое, как тонкий ледок, и Гере кажется, что он-то, этот ледок, и сдерживает тепло. Разбей его — и оно польется, польет...

Снег искрится. Тени на нем четкие, глубокие. Белое и черное — два главных цвета, без которых зима жить не может.

И снова дорога. Обыкновенная земная дорога, каких тысячи по России. И разные они вроде, и очень похожие друг на друга. Есть в них нужное начало и нужный конец, а главное — нет тупика. Тупика, в котором человек ощущает свое полное бессилие. Правда, случаются и такие дороги, но редко, и чаще всего это не те, что сообща строят люди. Дорогу, заканчивающуюся тупиком, может построить только один человек и только для самого себя...

Впереди еще одна деревня, самая для Геры раскрывавшая, самая нужная, потому что живет в ней его Любовь — тихая, добрая, неброская. Живет она вместе с вихрастым мальчишкой по имени Сережа. Живет и не знает, что Гере без нее невозможно. А может, и знает, да молчит. Это только в кино орут о любви да целуются — еще и в кадре с крупным планом. Вот, дескать, как мы любим друг друга, вот какие у нас чувства... Да только вранье это, а не любовь! Много раз он хотел сказать своей любви по имени Лида о чувствах, которые испытывает к ней, но как посмотрит на ее всегда озабоченное лицо, в глаза, где, как в далеком небе, таится что-то такое, что волнует и тревожит, поймет: нельзя сейчас об этом даже самыми хорошими словами. И не скажет...

«Газик» шустро бежит мимо застывших, словно по команде «Смирно!», деревьев, мимо торчащих из-под снега кущих хвостиков кустов. Бежит, старается, накручивает на все свои четыре колеса метры, километры холодной зимы.

Дорога с размаху взлетает на невысокую гор-

ку, машина катится с нее вниз, как малыш на санках: легко, весело, играючи.

Вот и деревня. Избы вразброс. Над каждой дымок над крышей. У каждой окна любопытны и чисты.

Въехав в деревню, Гера нажимает на сигнал и так, гудя, подкатывает к клубу, на ступеньках которого, прикрыв глаза от солнца ладонью, стоит Лида. Рядом с ней — Сережа.

Увидев машину, он срывается с крыльца и бежит навстречу сломя голову, что-то крича, размахивая руками то ли от избытка чувств, то ли для равновесия. Он в ушанке, валенках, пальто.

— Ну здорово, Серега! — серьезно говорит Гера, пожимая его маленькую, порядком застывшую ладошку. — Подросток еще или нет?

— Здорово! — говорит Сережа, оставляя без внимания вопрос о его росте.

— Как жизнь?

— Нормально.

— Замерз?

— Вот еще! — Сережа пренебрежительно шмыгает носом. — Меня мороз стороной обходит.

К клубу идут рядом: Гера по тропинке, а мальчишка чуть сбоку, «помогая» нести тяжелые банки, страшно довольный тем, что при деле, что мамка видит его старания. Зря, что ль, кино бесплатно смотрит?!

— Здравствуй, Лида! — говорит Гера, пододвигаясь. — Приехал, вот...

— Здравствуй! — Она улыбается. И улыбается так хорошо! И ямочек ведь на щеках нет, вместо них морщинок целая россыпь, а такая ласковая, такая теплая улыбка, что на сердце у Геры становится... Эх, нет нужных слов!

— Пошли,— просто говорит Лида и первой скрывается за дверьми.

В клубе тепло. Кажется, будто совсем недавно кончился киносеанс и люди только что вышли.

— Ну что привез? — спрашивает Лида, когда Гера ставит банки на стул.

— Про шпионов,— неохотно говорит Гера и зачем-то добавляет: — Про любовь в поселке оставил.

— Ура-а! — прыгает Серега и, громко хлопнув дверью, убегает делиться этой новостью с друзьями-мальчишками.

— Замерз? — негромко спрашивает Лида, разглядывая свои ладони.

— Нет,— отвечает Гера, глядя куда-то в угол.— Не успел как-то...

— А я по лотерее выиграла! — говорит она.— Целых пятьдесят рублей! Теперь я самая богатая! — И, помолчав, замирая в ожидании ответа: — Чай пить будешь?

— Буду,— отвечает Гера.— Мне спешить некуда.

Изда, в которой живет Лида, почти на самом краю деревни. Вокруг нее, как и вокруг других домов,— забор. На калитке висит почтовый ящик. От калитки к крыльцу — тропинка. Справа от крыльца — небольшой дровяной сарай. Во дворе и в доме чисто, аккуратно.

— Раздевайся,— говорит Лида.— Я сейчас стол накрою.

Гера переступает с ноги на ногу, бормочет что-то. Лида искоса смотрит на него, улыбается.

— Да не укушу я тебя! Проходи. Садись. Не хорошо у порога топтаться.

Гера раздевается, проходит к столу, садится на

самый краешек табурета и, как провинившийся ученик, кладет руки на колени.

— Вот так мы и живем,— просто говорит Лида, садясь напротив и поведя рукой.— Я воюю со своим Сережей, он — со мной, и примирения на ближайшие десять лет не предвидится... А ты как?

— А что я? — бормочет Гера, тиская ладони.— Я ничего... Я по-старому. Картины вот развожу всякие... Да, вот еще... — Он суматошно срывается с табурета, лихорадочно роется в карманах полушубка и достает маленькую коробочку.— Вот... Тебе это... — И густо краснеет.

— Мне?! — Лида удивленно смотрит на него, тоже краснеет и медленно открывает коробочку.— Какая прелесть! Колечко! — радостно восклицает она.

— В день рождения... Помнишь? Я не знал... Так вот... — упрямо глядя под ноги, сбивчиво объясняет он.

Лида примеряет колечко на один палец, на другой, третий — колечко впору только на самый большой! Она косится на Геру, торопливо прячет колечко в коробочку, говорит:

— Спасибо, Герочка! — И чмокает его в щеку.

— Да я чего? Я так... — Гера сосредоточенно капляет в кулак.— Увидел вот... Дай, думаю...

— Мне давно уже никто ничего не дарил,— тихо роняет Лида.— Я уже забыла, что это возможно... Вот так, просто... — Не договаривает и быстро уходит в другую комнату.

Чай пьют молча. Гера — с излишней сосредоточенностью глядя в стакан. Лида — как бы ненароком поглядывая на Геру.

— Муж-то пишет? — наконец спрашивает Гера то, о чем давно хотел спросить.

— А зачем мы ему? — Лида пожимает плечами. — У него своя жизнь, у нас — своя.

— Вот и хорошо, — бухает Гера.

— Что — хорошо? — округляет глаза Лида.

— Ну, что не пишет, — бормочет Гера.

— Дурачок ты! — ласково роняет Лида. — Большой, а дурачок. Что ж хорошего в том, что не пишет?

Гера вертит головой, смотрит на часы, неуверенно роняет:

— Пора уже.

Лида вздыхает, спрашивает:

— Сережу возьмешь?

— Возьму. Как же я без Сережи?

— Тогда я позову его.

Она выходит из избы, и Гера слышит ее певучий громкий голос:

— Сережа-а! До-мой! В город поедешь!

Сережа учится в третьем классе городской школы и живет в интернате. В прошлый приезд домой приболел, и по настоянию Лиды задержался дома.

В дорогу Сережу Лида собирает неторопливо и основательно. Долго и добросовестно втолковывает ему, что можно делать, чего нельзя. Сережка нетерпеливо переминается с ноги на ногу, согласно кивает. Гера стоит у порога, терпеливо ждет. Наконец сборы закончены. Лида хлопает сына пониже поясницы, вздыхает:

— Езжай! Наказанье ты мое заслуженное...

Сережа, как пуля из ружья, выскакивает на улицу. Подбежав к машине, со знанием дела постукивает колеса ногой, что-то объясняет невесте откуда набежавшим мальчишкам.

— Пора мне, — снова говорит Гера, поглядывая в окно. — Темнеет уже.

— Ты на меня обиделся? — спрашивает Лида, заглядывая ему в глаза.

— Не обиделся я. Что ты! Просто... — смущенно отвечает Гера. — Просто мне надо было сказать тебе...

— Что сказать? — быстро спрашивает она.

— Потом я... Потом скажу. — Он бережно сжимает ее ладошку, выходит из избы и идет не оглядываясь. Поэтому не видит, что Лида смотрит ему вслед поверх задернутой занавески. Смотрит, покусывая губы, приложив ладонь к щеке.

— Здорово, мужики-разбойники! — весело говорит Гера, подойдя к машине.

— Здравствуйте! — отвечают «мужики» вразнобой, но громко.

— Сегодня, к сожалению, прокатить не смогу. Время! — Гера постукивает кончиками пальцев по циферблату часов. — А вот в следующий раз не только покатаю, но и дам порулить. Не возражаете?

— Не-ет! — весело отвечают «мужики», зная, что дядя Гера обманывать еще не научился.

— Ну вот и хорошо.

Сережка уже сидит на своем привычном месте. На лице радость и гордость.

— Поехали? — спрашивает Гера.

— Можно, — солидно разрешает Сережка.

За деревней, на горке, Гера останавливает машину, смотрит. Отсюда деревня с зажженными огнями кажется похожей на маленькое созвездие. Вот он видит, как погас свет в избе Лиды. Представляет, как, поправляя на голове платок, Лида торопливо идет к клубу.

— Случилось что? — спрашивает Сережа.

— Все нормально, — отвечает Гера, трогая с места.

Огни деревни уже пропали, и поздний вечер распахнул перед машиной свои огромные ворота, за которыми темнота, лес, холод и дальняя дорога.

Свет машины рвется вперед. Шум мотора нарушает тишину. Кажется, что отступают в сторону большие потревоженные деревья.

На сердце у Геры хорошо: работа сделана честно, Лиду видел, поговорил, правда, так и не сказав о главном. Так ведь скажет!

Сережа внимательно следит за дорогой. Предупреждает о заметных выбоинах.

— Дядя Гера,— неожиданно спрашивает Сережа,— а зверям в таком лесу страшно?

— Зайцу, наверное, страшно,— охотно отвечает Гера.— Да и то не каждому. Зайцы, они тоже разные бывают.

Сережка, подумав, согласно кивает.

— Не замерз? — немного погодя спрашивает Гера.

— Нет.

— Ну и хорошо.

Замолкают.

Бежит навстречу дорога. Стоят, каждый на своем месте, километровые столбы. Скользит по зимнему лесу свет, будто гладит его. Забирается, насколько хватает сил, во все потаенные уголки, гоня страх и неизвестность. Но стоит ему переместиться, как быстро наступающая ночь тут же заполняет бывшее только что освещенным пространство темнотой, скрывая что-то свое, потаенное.

Гера представляет, как сидят сейчас в клубе люди и смотрят кинокартину, в которой показывают жаркую страну, горячую любовь. После просмотра, дома, каждый будет сравнивать свою лю-

бовь с той, что видел на экране, и кто-то, наверное, подумает о том, что его любовь не уступает той, экранной: «Моя хоть и проще, безо всяких там выкрутасов, но зато прочней, надежней...»

Раньше Гера никогда не задумывался о любви. Может, потому, что много насмотрелся о ней в фильмах, может, потому, что самому не пришлось любить. А может, не было уверенности в существовании настоящей любви. Не могут жить два человека друг без друга — и все... А любовь это или не любовь — большой секрет.

Мысли, мысли...

Серега молчит.

— Спишь? — спрашивает Гера, не отводя глаз от дороги.

— Нет,— торопливо отвечает Сережа.— Я так...

— Спи, спи,— советует Гера.— Еще далеко ехать.

Сережа вздыхает, некоторое время внимательно смотрит на дорогу, но тепло и однообразный шум двигателя убаюкивают его, и он, откинувшись на спинку сиденья, опустив голову, засыпает.

Проехали последнюю деревню. До города осталось немногим больше сорока километров.

Неожиданно двигатель резко заглох, машина заюлила и встала.

Гера похолодел. Двигатель заклинило — это было ясно. Он посмотрел на Сережу — тот спал.

Наступила тишина. Глубокая, до боли в ушах.

Гера молча смотрел на убегающую в свете фар дорогу и лихорадочно думал о том, что надежды на попутку или встречную почти нет. Ждать их, сидя в машине, — дело гиблое. Пойти пешком? Он-то ничего, он бы дошел, а вот мальчишка... Разнести костер?

— Что случилось, дядя Гера? — сонным голосом спросил Сережа.

— Ничего страшного. Небольшая поломка. Сейчас отремонтирую — и в путь, — торопливо сказал Гера. — А ты одень-ка мой тулуп. Мне в нем под машину не залезть. Во-от так. Давай досыпай!

В полушубке Серега был почти не виден.

— А вы?

— А у меня свитер толстый, две рубашки под ним, шапка. Спи.

Мороз жадно прильнул к лицу, едва он вылез из машины.

При помощи резинового шланга набрал в ведро бензина, оставил его на дороге и, проваливаясь по пояс в пушистом снегу, добрался до ближайших деревьев и стал ломать нижние ветви. Потревоженное дерево сбрасывало на него крупные комья снега.

К сожалению, от веток толку будет мало, а искать сушняк под толщей снега бесполезно, решил он.

Гера облил собранные ветки бензином, бросил зажженную спичку. Пламя полыхнуло, на миг ярко осветив все вокруг. Потом огонь сник, заелозил среди веток, жадно отыскивая сухую. Отыскал, вцепился как утопающий за соломинку, съел, нашел еще несколько. Костерок окреп, раздвинулся. Тогда Гера торопливо снял запаску, положил ее на самом краю костерка, чтоб не задавить его холодной тяжестью резины, и выплеснул из ведра остатки бензина.

Запаска разгоралась неохотно, но все же жар костра усиливался. Гера поворачивался к теплу то одним боком, то другим. Вспомнил, что где-то в кабине есть байковое одеяло, которое он подкладывал, когда приходилось лезть под машину.

Сережа не проснулся, хотя он не сразу нашел одеяло. Только парок от его дыхания струился из-под мехового воротника, как в отдушину. Как можно осторожней Гера накрыл его ноги свисающими полами полушубка, невесело улыбнулся и вернулся к костру.

В байковом одеяле телу стало немного теплей, но ноги мерзли. Тогда он принялся выплясывать перед костром самый дикий, но самый нужный сейчас танец.

— Ничего, — бормотал он. — Бывает... Подождем машину... Должна быть машина... Ведь их так много сейчас в городе!

Когда ноги отошли, он погрел сначала одну сторону тела, затем другую, само одеяло, залез в кабину, укрылся одеялом с головой. Стало тепло. Потянуло в сон...

Машина появилась, но только в десятом часу утра. «Почта».

Сережка спал. Гера лежал, навалившись грудью на рулевое колесо. Фары не светили...

НА ДАЛЬНОЙ СТАНЦИИ

Все бы ничего, но комары... Я ожесточенно прихлопывал их одного за другим, дымил без конца сигаретой — бесполезно: они с тупым бесстрашием продолжали атаковать меня, наполняя тишину тонким и злым, как укол, писком, и я был почти уверен в том, что до прибытия моего поезда они или сожрут меня вместе с потрохами, или сделают психом.

Полное бессилие перед безжалостной настырностью этих маленьких тварей прямо-таки выводил

ло меня из себя. Ладно б, если их был десяток, ну сотня, а то...

Мои лицо и шея давно горели от их укусов, и, честно признаюсь, я чуть не плакал. К тому же была немилосердная жара, воздух отравлял неприятный запах шпал.

Легче, но ненадолго, становилось, когда мимо, сквозным, проходил состав. При его приближении я подходил почти к самому краю перрона, поток воздуха уносил моих мучителей, однако проходило короткое время, и они снова возвращались еще более злыми и настырными.

Не знаю, сколько бы времени продолжались мои мучения и чем бы они закончились, если б не встреча с местной жительницей.

Когда мое терпение уже кончалось, за спиной раздалось участливое:

— А ты, сынок, пижмой потришь, они и отстают.

Я обернулся. В нескольких шагах от меня, опираясь руками на суковатую палку, стояла невысокая старуха в светлой кофте и длинной юбке, из-под которой виднелись тапочки.

— Пижмой? — жадно переспросил я. — Какой пижмой? — И завертел головой.

— А вона растет! — Она показала палкой в направлении сложенных «колодцем» шпал, рядом с которыми густо росли желтые цветы, похожие на ромашки, но без лепестков.

Я недоверчиво посмотрел на нее. Она улыбнулась.

— Спробуй, попробуй! Головок нарви, в ладошках разотри да и приложи куда надо.

Я сделал так, как она советовала: нарвал, растер в ладонях, приложил к лицу — в нос ударил резкий запах.

Теперь проклятые комары продолжали атаковать меня, но в нескольких сантиметрах от лица круто взмывали.

— Отпрыгнули окаянные? — то ли спросила, то ли подтвердила старушка, склонив к плечу аккуратную причесанную голову.

— Отстали! — облегченно выдохнул я.

— Ну и слава богу! — Она снова улыбнулась. Круглое лицо ее прямо-таки засветилось от удовольствия. — А то я смотрю из окна, как ты ходишь да мучаешься, и думаю: схожу-ка дам человеку совет, как от беды избавиться.

— Даже не знаю, как и благодарить вас, — сказал я.

— За что благодарить-то?! — Она удивленно посмотрела на меня. — Эка труд — человеку помочь! А травку эту ты запомни.

— Да уж запомню, — весело ответил я, уже только по привычке отмахиваясь от комаров и думая о том, что сейчас мне и сам черт не брат.

Старушка, видимо, решила опекаль меня все-рбез.

— Кушать хочешь? — спросила она просто-душно.

Есть я хотел, но говорить об этом незнакомому человеку мне было неловко.

— Да как вам сказать... — промямлил я.

— А так и скажи: хочу, — сердито обронила она. — Чего кот-то за хвост тянуть, ежели голо-ден?

— Да знаете, — снова замялся я, глядя под ноги, — неудобно как-то.

— Неудобно, мил человек, только штаны через голову надевать, — наставительно и строго заметила она, поджимая узкие полоски губ почти после

каждого слова.— А желудок наказывать негоже. Он-то в чем перед тобой провинился? — Кивнула в сторону вокзала.— Пошли, накормлю. Я, как знала, борщ сварила. Вкусный, наваристый! — Она сощурила глаза, причмокнула и засеменила впереди, бойко постукивая палкой по окаменевшей от жары узкой чистой дорожке.

Я взял стоявший на скамейке чемодан и пошел следом.

— А травы, мил человек,— негромко говорила она, то и дело оборачиваясь,— знать надобно, как «Отче наш». Поди, не ради глупого развлечения матушка-земля их на свет произвела.— Неожиданно остановилась, спросила. — Поезд-то твой когда прибудет?

— Завтра, к обеду.

— Ну тогда и перепиши у меня! — решила она.— Места у меня, слава богу, хватает. Одна живу.

Ее изба стояла метрах в тридцати от вокзала. К ней вела узкая тропинка, заросшая по обеим сторонам подорожником. Где-то посередине с нее соскальзывала еще одна и вела к дороге, что тянулась в сторону деревни, где жил мой брат, к которому я приехал провести отпуск. К несчастью, брата я не застал: он уехал на курсы повышения квалификации.

— Спасибо вам! — сказал я, когда мы вошли в маленький ухоженный двор.

— Благодарить потом будешь, ежели не обижу,— отмахнулась старушка, поднимаясь на крыльцо и входя в сени.— Характер у меня, говорят, не приведи господь! Невоспитанный.

Я вошел следом за ней в просторные прохладные сени и невольно остановился: под потолком, на протянутой толстой леске, висели пучки трав.

Пахло медом и еще чем-то терпким и вкусным. Казалось, что я уткнулся головой в охапку свежего душистого сена.

И мне вдруг отчетливо припомнился далекий день детства, когда я, как мне тогда казалось, незаслуженно наказанный отцом, убежал в поле, лег в траву лицом и плакал горько и с каким-то сладким удовольствием.

Странно, что обида забыта, а вот запах трав запомнился.

— Это аптека моя! — гордо сказала хозяйка этого необычного дома, останавливаясь.— Это зверобой.— Она коснулась пальцем одного из пучков.— Это кошачья лапка — травка от сорока недугов. А еще зовут ее белым бессмертником. А это тысячелистник. Ну да ладно! Входи в избу.

Я переступил высокий порог и очутился в уютной кухоньке, большую часть которой занимала русская печь и покрытый розовой клеенкой стол, на котором лежал укрытый чистым полотенцем хлеб. Маленькое окно смотрело в сторону станции.

— Чемодан-то поставь! Не украдут, поди,— ворчливо заметила она.— И обувку сыми. Пол, сам видишь, мытый.

Я поставил чемодан, снял полуботинки и восторженно посмотрел на нее.

— И носки сымай,— сказала она.— Усталость быстрее с тела сойдет, да и полезно босиком-то. Мой отец, сколько помню, все босиком ходил. А чтоб еще легче было, возьми-ка в сенях таз, воду в ведре да вымой ноги-то. А я покуда стол накрою.— И не обращая на меня внимания, занялась посудой.

Я взял в сенях таз, налил в него воды и вышел на крыльцо.

Прохлада воды и в самом деле сняла с меня всю усталость и какое-то равнодушное оцепенение.

Оставляя на крашеном полу следы ног, я вернулся в избу.

Стол был уже накрыт. Старуха сидела на табурете, положив на колени темные, со вздувшимися венами руки, на одной из которых, на безымянном пальце, тускло поблескивало широкое серебряное колечко.

— Лицо-то умыл? — спросила она.

— Нет.

— Так умой.

Я вернулся в сени, умылся из-под умывальника, вытерся висящим рядом с ним полотенцем.

— Эка похорошел-то как! — сказала моя опекунша, с трудом сдерживая улыбку. — Небось и улыбаться умеешь?

Я невольно улыбнулся.

— Ну садись за стол. Да не сбоку, как бедный родственник, а напротив меня да ближе к чужунку.

Честно признаться, я уже давно не едал такого вкусного борща. И с аппетитом ел не потому, что был голоден. Приготовлен он был талантливо. Всего в нем было в меру: и капусты, и мяса, и помидоров, и соли, и петрушки... И еще — он был красивый. И ел я его деревянной, немного стершейся с краю ложкой.

— Не стесняйся, — сказала хозяйка. — Ешь шумно. Сёрбай. Оно вкусней будет. Ложка-то большая, а рот у тебя для чайной ложки. Еще ешь. Мужiku есть надо: на то он и мужик, на то и кормилец. Он как поест — так и работать будет. Слава Богу! — Она перекрестилась. — Сорок лет с мужиком прожила...

Я уже насытился, но она налила мне еще одну миску, заметила:

— Второго нет. Не варено. Да и лишний перевод продуктов. А вот чай есть.

Когда я с трудом одолел добавку, она налила мне в кружку чая. Я сделал глоток — и вопрос застыл на моем лице.

— А ты думал, «индийский»? — улыбнулась она. — Эка чего захотел! Мой чай из зверобоя да на чаге заварен. Пей! Ежели помрешь — скажешь.

Я вздохнул и стал пить.

Было прохладно и тихо. Только в соседней комнате раздавался неторопливый перестук часов.

— А теперь поди отдохни малость, — последовал совет, когда я выпил чай. — Пускай жирок на пупке завяжется. Куришь?

— Курю, — кивнул я.

— Тогда на сеновал не пуцу, и не проси, — решительно заявила хозяйка. — В комнате вздремнешь.

Из кухни она повела меня в большую светлую горницу. В переднем правом углу здесь висела икона. Слева от нее, на стене, тикали ходики. Вдоль стен, оклеенных светлыми обоями, стояли старомодные громоздкие вещи, глядя на которые, чувствуешь их продуманную надежность. Посередине стоял стол. На нем лежала рассыпанная колода ветхих карт.

Из горницы мы прошли в маленькую спальню. На полу лежал цветастый половик. Возле стены стояли кровать и стул. У задернутого занавесками окна — крохотный стол. На нем книжка с мудреным техническим названием.

— Это прежний пассажир забыл, — сказала старушка, перехватив мой взгляд. — Солидный такой господин, размеренный, басистый... Да ты ло-

жись,—поторопила она, разбирая постель.— Да раздешься! Сон светлей будет. А то приснится как-нибудь болотина.

Она взбила подушку, окинула взглядом комнату, прежде чем уйти, спросила: — В карты играешь?

— Как? — глупо спросил я.

— В «дурочка».

— Играю.

— Вот и хорошо! — обрадовалась она.— Вечерок легче коротать будет. Зовут-то тебя как?

— Алексеем.

— Ну а меня бабкой Глафирой кличут. Отдыхай! — И вышла, аккуратно и плотно прикрыв за собой дверь.

Я разделся, лег. И тут же заснул.

Меня разбудила бабка Глафира.

— Эка ты спать! — весело сказала она, когда я открыл глаза.— Что ночью-то делать будешь? — Лицо ее было розовым, глаза шурились. Седые волосы уложены волосок к волоску.— Я уж и блинчиков напекла,— продолжала она, отдергивая занавески,— и чай заварила, а до этого и в деревеньку слетать успела — подружку свою, Маришу, навестила, а ты все в сонном царстве...

Я невольно улыбнулся. Мне отчего-то странными показались ее слова «подружка Мариша». Как-то не уживались они с ее возрастом.

— Ты это чего улыбаешься? — подозрительно спросила она.

— Вспомнил,— пробормотал я.

— А я уж грешным делом подумала, не надо мной ли, старой? Ну одевайся, а я покуда стол накрою.

Я натянул брюки, надел рубашку и подошел к окну. Оно смотрело на огромное, по моим поня-

тиям, поле, уставленное высокими стогами. На одном из них, на торчащей изнутри жерди, медленно поворачивая голову, сидела какая-то птица. Все было залито ярким светом солнца.

— Оделся ли? — слышалось из-за двери.

Я вышел из комнаты. Бабка Глафира была уже за накрытым белой скатертью столом, на котором стояло блюдо с высокой горкой блинов, мисочка с растопленным маслом, сахарница.

Я сел на свое прежнее место. Чай пили молча, изредка поглядывая друг на друга. Тикали ходики.

Она пила чай из красивой чашки, бледно-голубой, тонкой до удивления. Отщипывала темными от долголетия щипчиками мизерный кусочек сахара, клала его в рот, делала глоток и жмурилась от удовольствия.

— Нравится? — спросила она, ставя чашку на блюдечко.

— Нравится.

— Это старик мой мне на именины подарил. Пей, сказал, женушка, в свое удовольствие. В антикварном магазине в Москве купил, когда со своими военными документами туда ездил.

— А где он? — осторожно спросил я.

— К другой старухе ушел, — сердито отрезала она.— Приезжала тут одна вертихвостка... Прости меня, Господи! Расфуфыренная такая. Волосы накрашены, губы навакшены.

— Но как же так?! — удивился я.— Вы же говорили, что больше сорока лет вместе прожили!

— Прожили. А он взял да уехал к ней! — Она вздохнула, посмотрела в окно, за которым шумно проходил какой-то состав.— Давеча приезжал. Бородкой обзавелся, в костюме. Из кармашка белый платочек выглядывает. Ну чисто профессор!

Назад просился. Видать, крепко она его в оборото взяла... Не в меня, дуручку: Васенька, Вася... А Вася...— Не договорила, махнула рукой.

— Ну а вы?

— А что я? — Она дернула плечом. — Я ему — от ворот поворот! Не прощать же?! Он по моей любви и верности кулаком, а я — утрись да снова люби? — Покачала головой, выдохнула: — Ой, дурак, дурак! Ну да что же теперь поделаешь, ежели жизнь так обернулась? — Положила щеку на ладонь и замолчала, глядя в одну точку.

Молчал и я.

Масло в блюдечке застыло. Парок в чашке сник, погрузнел.

— Ну да ничего! — Встрепенулась. — Горюй не горюй, а что случилось — не поправишь. Чаю налить?

Я отказался.

— А я еще чашечку выпью. — Она грустно улыбнулась. — От чая, знаешь ли, сердце теплеет. А ты иди погуляй. Чего сидеть-то попусту? Время не пересидишь, да и погода нынче хорошая. Босиком иди, босиком. Привык, поди, в городе-то запарованным ходить...

Я вышел из избы, добрался до калитки, с непривычки кособочась при каждом шаге от попадающих под ноги камешков, и пошел к стоящему невдалеке колодцу, рядом с которым рос высокий тополь.

Бревна сруба колодца были черными и в глубоких трещинах. На небольшой скамейке стояло ведро, соединенное с воротом тонким гибким тросиком.

Я открыл крышку. В лицо пахнуло холодом. Где-то глубоко-глубоко лежал светлый слиток воды. Я опустил ведро в колодец, крутанул ворот.

Он отчаянно завизжал, и ведро полетело вниз, гулко стучаясь о стенки. Наконец из далекой глубины раздался всплеск. Зеркальная поверхность воды сморщилась, потемнела. Ведро с прихлебом глотнуло воды, тросик натянулся, и я стал крутить ручку ворота в обратном направлении. Крутил долго. Наконец показалось ведро. Вода в нем была удивительно светлой и холодной. Я сделал несколько глотков, перевел дыхание, выпил еще, закрыл крышку и напрямик, по траве, пошел в сторону вокзала.

На завалинке вокзального здания сидел мужик.

— Здорово, городской! — покашливая в кулак, негромко проговорил он, когда я проходил мимо.

— Здорово! — кивнул я в ответ.

— У бабки Глафиры остановился?

— У нее... А что?

— Да так, ничего... — Он пожал широкими плечами. — У нее изба — вроде как гостиница... Добрая старуха. А травами лечит — приходи смотреть. У нее, почитай, полдеревни со своими болячками перебивало. К городским костоломам, можно сказать, никто не ездит. Да ты садись! — Он хлопнул ладонью по завалинке. — Поговорим. Покурим. Все ж какое ни есть, а занятие.

— А ты чего здесь кукуешь? — поинтересовался я, когда мы сунули в рот по папиросине.

— А-а! — Он поморщился и махнул рукой. — Дочку приходил встречать. А она взяла да и не приехала. А дома ее мать ждет. Пирогов напекла, наготовила. Поди, в окно смотрит! — И жадно затянулся папиросным дымом.

— Бывает, — уронил я.

Он не ответил.

Небо у горизонта заполнилось тучами, подул довольно сильный, но теплый ветерок.

— В гости приехал? — спросил он.

— К брату, — ответил я. — А он на курсах.

— Неделю назад как отправили, — подтвердил он. — Месяца два, а то и все три там проторчит — не меньше. — Загасил окурок о завалинку, спросил: — Ну а в городе-то как жизнь?

— Нормально. — Я пожал плечами. — В городе как в городе.

Он усмехнулся, щурясь, посмотрел на небо, хмыкнул:

— Урок черчения в двадцатом веке! Мать бы их за ногу!

Высоко в небе, оставляя на голубизне две перекрестывающиеся белые полосы, неслышно летели два самолета.

— Дочертят... — Он сплюнул. — А на земле.... — Не договорил, махнул рукой, тяжело поднялся. — Ну бывай! — Протянул мне руку и ушел, топая кирзовыми сапогами, в сторону деревни.

Я долго сидел на скамейке перрона, глядя на проходящие поезда, на пригибающиеся под их сумасшедшим весом черные рельсы. И мне было удивительно хорошо, спокойно и беззаботно.

Бабку Глафиру я застал сидящей на крыльце. Она плакала, прижимая к глазам носовой платок. Руки у нее были красные, в мыльной пене.

— Что случилось?! — испуганно спросил я.

— Кольцо! — всхлипывая, как девчонка, сказала она. — Что на руке больше сорока лет носила... Потеряла... Старик мой на свадьбу подарил, а я... — Губы ее мелко задрожали, и вся она стала какой-то маленькой. Слезы катились по глубоким морщинам к уголкам рта.

— Может, когда стирали, с пальца соскользну-

ло, — неуверенно предположил я, глядя на стоящий на крыльце таз, полный выстиранного белья. — А вы его, не заметив, и выплеснули вместе с водой.

Она посмотрела на меня покрасневшими от слез глазами, прошептала:

— Может, и выплеснула... Да разве ж найдешь сейчас, в траве-то? Она у забора некошенная. Ой, не к добру это! Помру, видать, скоро.

— Найдем! — уверенно сказал я. — Не провалялось же оно сквозь землю. Куда воду-то выплескивали?

— А покажу сейчас, покажу, — торопливо сказала она и засемила к дальней плети забора. — Дай, думаю, маленькую постирушку устрою, — говорила она, по-прежнему всхлипывая. — А оно, вишь ты, как вышло-то... Да я и не думала, что с пальца-то... Сорок лет носила... Тут я выплескивала... Вона пена еще на траве лежит.

Я перелез через забор и стал искать потерянное кольцо. Трава была густой, высокой. Сначала я искал его, сидя на корточках, затем опустился на колени. Искал долго. Бабка Глафира, прижав руки к груди, молча смотрела на меня, изредка всхлипывая.

Увидел я блеск серебра, когда потерял уже всякую надежду найти колечко. Оно лежало, спрятавшись за небольшой веточкой, и по нему ползла божья коровка.

— Нашел! — радостно закричал я, словно неожиданно-негаданно выиграл сто тысяч. — Нашел, бабка Глафира! Вот оно, колечко-то!

Она взяла его, надела на палец, прошептала:

— А и впрямь, видать, похудела я... От измены его аль от ревности своей... Так стара уже ревновать-то! Эко как жизнь-то...

Я перелез через забор. Она молча взяла мою голову обеими руками, наклонила и прикоснулась мягкими губами к моей щеке. Пошутила:

— Скажу кому, что с молодым целовалась, не поверят! — И засмеялась, прижимая к беззубому рту ладошку. — А то и позавидуют подружки-то мои, давно не целованные! — И заспешила к избе.

Я сел на крылечке. Закурил, слушая, как в глубине избы весело гремит посудой бабка Глафира. Мне было удивительно хорошо, и я улыбался, сам не зная чему.

День подходил к концу. Солнце уже было где-то далеко за горизонтом. По полю полз туман. У калитки с деловым видом прыгал воробей. Далеко-далеко прозвучал усталый гудок тепловоза.

— Леша, иди чайку посёрбаем, — позвала меня бабка Глафира, выйдя на крыльцо. — В «дурочка» сыграем, поболтаем...

В «дурочка» я начал с ней играть с таким снисхождением, но после того как старушка дважды обыграла меня, стал играть серьезно.

Глафира, прежде чем бросить карту, долго шевелила губами, морщила и без того морщинистый лоб, и то ли память у нее была лучше моей, то ли ей сопутствовала удача, но она оставляла меня в «дураках» вновь и вновь. Наконец я бросил карты на стол и поднял руки.

— Плохо играешь! — сказала она, собирая карты. — Не думаешь совсем. Тебе лишь бы играть. Этак всегда проигрывать будешь. Плохо это. Привыкнуть можно к проигрышам-то...

В избе заметно потемнело. Она зажгла керосиновую лампу, поставила ее на середину стола, и мы продолжали пить чай.

Широкий язычок пламени в лампе колебался, заставляя двигаться на стенах, на потолке тени.

— Хорошо у вас! — заметил я. — Тихо.

— Тишины да покою впереди ой как много будет! — вздохнув, негромко сказала она. — А пока человек жив — шум да заботы нужны. Вона мой сын Степан приезжал да рассказывал, какой у них шум на заводе. Зато и сам бойкий, веселый. С женой ему, правда, не повезло. Жили, жили, вроде все хорошо, а она — прыг в сторону и бегом, бегом от него... Думала, догонять будет, уговаривать, а он — нет. Ничо, вспомнит, когда споткнется да упадет! — И она стала рассказывать мне о сыне, о своей жизни. Рассказывала не спеша, с длинными паузами, и язычок пламени покачивался, тянулся за рамки стекла, словно хотел принять участие в нашей беседе.

— Ой, никак заговорила я тебя! — спохватилась бабка Глафира. — Эка я какая! Поговорить — так прямо сама не своя... Иди спать, иди. А утром я тебя разбужу и билет куплю. Ты только деньги оставь да скажи, куда билет купить. Мне билет купить легче, мне не откажут. Сама на этой станции почитай лет тридцать отработала.

Я написал на листке бумаги название города, оставил деньги и пошел спать.

Прежде чем лечь, долго смотрел в окно. Засыная, ворочался и слушал, как в темноте тонким писком шнурует тишину одинокий комарик, как негромко, верно сама себе, рассказывает о прожитой жизни старая хозяйка этого уютного гостеприимного дома.

Меня провожала бабка Глафира.

День выдался солнечный, с бойким ветерком. Облаками было заполнено все небо, но они были белые, воздушные и куда-то спешили, спешили...

— Заезжай навестить,— сказала она.— Пиши. На станцию. Бабке Глафире. Тута меня все знают.— И прижала платок к губам.

Честно признаться, и у меня запершило в горле.

— А это тебе,— сказала она, когда я стал подниматься в вагон.— И деткам твоим от старой одинокой бабки Глафиры. Травка здесь, что на этой станции растет. Ото всех болезней и бед! — И слабо помахала мне рукой.

Поезд торопливо уходил. Я, держась за поручни, долго смотрел на удалявшуюся станцию, и железная дорога, словно понимая меня, не спешила делать поворот. Позже, сидя в купе, я открыл мешочек. Там были цветы зверобоя, пижмы, тысячелистника и еще какие-то, мне незнакомые, верно, те, что лечат ото всех бед...

А через полгода я получил письмо от брата.

«Бабка Глафира шлет тебе привет, часто вспоминает и ждет, когда приедешь. Приезжай».

Я обещал.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Тени выплывали из-за спины, ложились под ноги, укорачивались и пропадали, чтобы появиться вновь.

Шли рядом. Горин, грузный, со стороны похожий на нахохлившегося селезня, ступал осторожно. Боков, высокий, узкоплечий, стройный, шагал свободно.

Было по-осеннему прохладно. Высокое черное небо — в звездах. Скупое светили стоящие по обеим

сторонам улицы фонари. Под ногами звучно хрустывали схваченные ночным заморозком лужицы, листья.

— Значит, тебе так и непонятно — почему... — лезая в кулак, уронил Горин, продолжая начатый еще во время дежурства разговор.— Что ж, постараюсь объяснить по возможности.— Он на мгновение замолчал, потер подбородок: — Значит, так. Первое: мотоцикл потерпевшего был технически исправен. Второе: дорожное покрытие в момент происшествия находилось в хорошем состоянии, а видимость была превосходной. Третье: помехи отсутствовали. И наконец четвертое: по заключению судебно-медицинской экспертизы потерпевший был абсолютно здоров и трезв. Исходя из вышеизложенного, административная комиссия пришла к заключению, что состав преступления отсутствует. Ну?! — Он посмотрел на Бокова.— Теперь-то, надеюсь, ты понял — почему?

— Выходит, что он по собственному желанию с моста на камни рухнул? — хмуро спросил Боков, глядя под ноги.

Горин зябко передернул плечами, равнодушно ответил:

— А кто его знает! Он нам об этом не докладывал... Но, вероятней всего, с управлением не справился.

— С чего ты это решил? — спросил Боков, мельком взглянув на него.

— Свидетель, что ехал следом за ним на мопеде, показал: водитель мотоцикла, приближаясь к мосту, неожиданно и резко увеличил скорость, на мосту его круто метнуло вправо и... — Горин не договорил, махнул рукой.

Замолчали. Вдали послышался нарастающий

шум двигателя. Вскоре из-за поворота вынырнул и проехал мимо полупустой автобус.

— Интересно, почему он увеличил скорость?— задумчиво проговорил Боков, по-прежнему глядя под ноги.— Да к тому же еще неожиданно и резко, Может, спешил куда?

— Может, спешил, может, убегал!— раздраженно уронил Горин.— Сейчас об этом кто знает? Никто! А у него, к сожалению, не спросишь.

— Странно.

— Что тебе странно?

— На прямом участке дороги— и не справиться с управлением... Ладно, если б поворот был... Может...

— Твое «может»,— резко перебил Горин,— из области предположений. А предполагать позволено что угодно: отвлекся, задумался.— Он повертел пальцем у виска.— Или у него в тот самый момент какой-нибудь шарик не сработал. А если и сработал, да только не в ту сторону... Все— м о ж е т! Все! Но предположение, оно и есть предположение, а нужен факт. Факт! Понимаешь? На худой конец— аргументированное подозрение. Оно у тебя есть?

Боков промолчал.

— Вот то-то и оно!— удовлетворенно произнес Горин и посмотрел на часы.— А то заладил: почему, может...

— Да как ты не понимаешь, что в тот момент не мог он ни задуматься, ни отвлечься!— воскликнул Боков.

— Это почему же не мог?!— удивился Горин, придерживая шаг.

— Ну как же! Ведь свидетель, как вы говорите, показал, что, приближаясь к мосту, потерпевший резко увеличил скорость. Так?

— Так,— неохотно подтвердил Горин.

— Но ведь если я или, к примеру, вы срываемся с места, чтобы успеть, к примеру, на автобус, то мы в этот момент вряд ли задумаемся или отвлечемся. Разве не так?!

— Ну так,— согласился Горин, подумав.

— Понимаете, не верю я! Не верю!— горячо заговорил Боков.— Чтобы человек ни с того ни с сего мог из жизни добровольно уйти. Причина должна быть. Понимаете, при-чи-на!

Горин усмехнулся:

— Причина... Можно и без причины. Что, не веришь?— И снова усмехнулся.

— Не верю!— Боков отрицательно покачал головой.

— Тебе сколько лет, Виктор?— спросил Горин.

— Двадцать три. А что?

— А то, что жизнь еще плохо знаешь. Вот что! Ты не забывай, что на земле, помимо всего прочего, есть еще госпожа Судьба и господин Случай! А этих двух товарищей сам черт не поймет. Делают они, что хотят и когда хотят, и нет для них под этим небом ни людского, ни божьего закона. Что смотришь? Что смотришь на меня, как...— не договорил, хмыкнул:— Не веришь... Хорошо. Вот тебе к примеру: один падает с пятого этажа, да что там с пятого,— он пренебрежительно махнул рукой,— с пяти километров— и хоть бы хны, а другой стабуретки— и на тот свет. А почему? Ты сможешь мне это объяснить? Нет. Не сможешь. И я не смогу, и сама жизнь не сможет. Вот ты говорил тут, что должна быть причина. Хорошо. Я согласен. Тогда объясни мне, если, конечно, сможешь...— Он снова усмехнулся.— Почему при авариях на дорогах в большинстве случаев страдает тот, кто правил не нарушал? А? Чего молчишь? Одним сло-

вом, это такой кроссворд, что его сам черт не решит. Ты спешишь?

— Нет,— не сразу отозвался Боков, чувствуя свое полное бессилие в попытке объяснить ситуацию. Полное.

Горин свернул к стоящей рядом с тротуаром скамейке. Боков сел рядом.

— Ты какое время года больше любишь? — неожиданно спросил Горин.

— Осень.

Виктору нравилась осень за сладко-тревожное ожидание чего-то неизвестного, за броскую красоту. Особенно он любил ее в ночное время, когда город спал. Он выходил из густого тепла дежурной комнаты на крыльцо, закуривал и подолгу смотрел, как отражается в подернутых ледком лужах свет фонарей, редко светящихся окон, как звучат в тишине шаги спешащего по своим делам человека. В такие минуты ему казалось, что ничего плохого с людьми не может случиться. Но каждый человек жил своей, не всегда правильной жизнью, потому-то нет-нет да и звонил на столе дежурного телефон...

— А я — лето,— сказал Горин.— И знаешь, почему? Тепло, зелень, солнце... Дай закурить!

Виктор протянул папиросы. Закурил сам.

В доме напротив за одним из окон вспыхнул свет, и было видно, как сонная женщина медленно обрывает листок календаря.

— Домой пора,— проговорил Горин, бросая окурок под ноги.— Моя симпатичная меня заждалась, наверное. В окно смотрит.

— Слушай! — неожиданно перейдя на «ты», глухо обронил Виктор, глядя на вмерзший в лужу листок осины.

— Да?! — Горин удивленно посмотрел на него.

— Судьба... Случай...— медленно заговорил Виктор.— Возможно, конечно, что они и существуют.

Горин хмыкнул:

— Наивный ты человек, Боков, вот что я тебе скажу. Возможно! — Покачал головой.— Было время, я, как и ты, думал. Не верил, да пришлось. Жизнь заставила. Она ведь не круглая, жизнь-то наша. Ой, Боков, совсем не круглая! Взять, к примеру, аварии на дорогах. Впрочем, я тебе уже об этом рассказывал. Зачем повторяться?

— Да не мог он! Понимаешь, не мог молодой, здоровый парень,— горячо заговорил Виктор,— сам...

— Так я тебе о том и толкую,— перебил Горин,— что виновата судьба или случай. Они. Понимаешь, они за него все решили. Как сказал один умный человек: «Все делается без нашего согласия». Откуда ты знаешь, вдруг судьба взяла да и подкинула ему камешек под переднее колесо?

— Судьба! Случай! — раздраженно проговорил Виктор.— Дались они тебе! Палочки-выручалочки... Как что — судьба. Случай. Разобраться сначала надо, а уж потом на них все валить. Может, они в этом случае совсем ни при чем.

Горин хохотнул:

— Снова — «может». Вот возьми да и разберись.

— И разберусь,— решительно заявил Виктор.

— Желаю удачи, Пинкертон! — Горин весело подмигнул и ушел, как всегда, не прощаясь.

Виктор проводил его взглядом, поднялся и зашагал к автобусной остановке.

«Судьба! Случай! — раздраженно думал он.— Да если верить в рассуждения Горина, то зачем вообще жить. Выходит, что мечты, надежды от них

зависят. А кто они такие? Слова — и только. Выдумали для успокоения. Ерунда какая-то...»

Автобус пришел быстро. Народу было мало. Он сел к окну. Хлопали двери. Менялись пассажиры.

— Гуляет, что ли? — неожиданно прозвучал за его спиной негромкий ленивый голос.

— Пьет! — всхлипнули в ответ. — Трезвый — человек как человек, а напьется — глаза бы мои на него не смотрели! Я все для него, а он...

— Подай на развод, — посоветовали равнодушно. — Свет на нем клином сошелся, что ли? Женщина ты молодая, красивая, образованная, а мужиков сейчас — глаза разбегаются.

— Так ведь люблю я его, паразита! — воскликнули с отчаяньем.

— Люблю-ю! — передразнили. — А он-то тебя любит?

— Наверное...

— Наверное! — передразнили снова. — Пора бы уж знать, милая, что любить надо только тех, кто тебя любит. Ты уж мне поверь на слово. Я за свою жизнь всякого перевидала...

Виктор, сделав вид, что провожает взглядом проходящего по тротуару мужчину, оглянулся. За спиной сидели две женщины: молодая прижимала к заплаканному лицу носовой платок, пожилая смотрела на нее со снисходительной улыбкой на чрезмерно накрашенных губах.

— Нам выходить, — решительно сказала пожилая, поднимаясь. — Первое время у меня поживешь, а там видно будет. Да не ревни ты! — произнесла она с раздражением на весь автобус. — Раньше надо было реветь, когда замуж выходила. А теперь что? Теперь терпи, раз любишь...

* * *

Дома никого не было. В кухне на столе лежала записка: «Витя! Мы ушли на работу. Завтракай и ложись отдыхать. Мама». А чуть ниже приписка: «Вчера вечером звонила Ольга. Я сказала, что ты на работе. Просила передать, что позвонит сегодня в 19 часов».

Есть не хотелось. Он прошел в свою комнату, не включая света, подошел к окну и открыл форточку. Стали хорошо слышны шум проезжающих мимо автомашин, голоса людей, их шаги. Залетевший ветерок нетерпеливо затеребил шторы. С высоты восьмого этажа был хорошо виден город — большой, щедро залитый огнями. Квадрат стены дома напротив, с редкими, вразброс, светящимися окнами, был похож на карточку в спорт-лото. Во дворе, у детской песочницы, лежал кем-то забытый большой резиновый мяч. Одна половина его была темной, а другая — светлой. Глядя на него, он вспоминал, как несколько лет назад, после армии, прямо с вокзала, не заходя домой, он пошел к ней, к Ольге. Даже не шел, бежал, расталкивая прохожих, чтобы увидеть ее, поцеловать и сказать о самом главном, о чем долго думал там, в армии, — о любви к ней. Но у ее дома стояла свадебная машина, а в ней — красавица-невеста и жених. И невестой была Ольга... И все! В какую-то секунду любимая стала просто знакомой. Они не увидели его, не до него им было, воркующей парочке... Вот тогда-то он и саданул ногой подвернувшийся под ноги большой резиновый мяч, да так, что тот, жалобно звеня, взлетел и рухнул в чьем-то огороде среди картофеля. Он думал, что — всё! Предательства простить нельзя! И вот совсем недавно, неделю назад, она позвонила

и попросила о встрече. Он не хотел идти, но почему-то пошел. И слушал, когда она говорила, что любит его, что ошиблась... Говорила горячо, заглядывая в глаза, вытирая слезы... Он хотел ей сказать тогда, что все это ни к чему, что прошедшего не вернуть и еще много другого — злого, обидного... А сам вдруг сказал, что тоже любит ее. Как она обрадовалась, как целовала его! Говорила, что мужу она сама обо всем скажет, что он у нее умный и чуткий — поймет. Вероятно, так устроен человек: он прощает то, что можно простить.

Теперь она позвонила снова...

Он поежился, не раздеваясь, лег на диван, укрылся старым бабушкиным пледом.

В глубине квартиры слышалось тиканье часов, звучное падение капель из водопроводного крана. Все эти звуки были знакомы ему с детства. Знакомы и дороги. Порой ему даже казалось, что это привычный разговор домашних вещей на одном из непонятных ему языков жизни.

Заснул незаметно. Снилось что-то хорошее, радостное.

Его разбудил настойчивый телефонный звонок.

— Виктор, это ты? — прозвучал в трубке хриловатый голос Горина.

— Я.— Виктор переложил трубку к другому уху.

— Ты не передумал?

— О чем речь?

— Как это — о чем? — удивился Горин. — Ты же хотел разобраться в обстоятельствах гибели мотоциклиста. Или уже на попятную?

— Не передумал.

— Вот и прекрасно! В таком случае слушай и запоминай, а еще лучше — запиши.

— Запомню, — буркнул Виктор.

— Значит, так. Погибший, Авдеенко Сергей Александрович, жил на улице Энтузиастов, дом 10, квартира 8. Работал в СМУ-4 слесарем-сантехником. Его бригада трудится сейчас на строительстве девятиэтажки — это у городского Дома культуры. Я узнавал. Теперь... — Послышался шорох перерачиваемых страниц. — Свидетель, Архипов Виталий Федорович, живет сразу же за мостом, где произошла трагедия, первый дом справа, если ехать со стороны города. Сейчас он в отпуске. По крайней мере неделю назад был еще отпуском.

— А родители потерпевшего где проживают? — спросил Виктор.

— Родители в Свердловске или в Северодвинске, точно не помню.

— Слушай! А ты-то чего интересовался? — полюбопытствовал Виктор.

— Долго объяснять. А если честно: зло разобрано. Ты прав! Слишком часто мы все непонятное и труднообъяснимое на судьбу и случай сваливаем. Нам-то зачем голова дана? Я бы тебе вот такой план действий посоветовал: сначала съездить в бригаду, затем поговорить с его женой, потом уже со свидетелем.

— Ладно.

— Ну бывай! Если что — звони. Я буду дома. Виктор медленно положил трубку, вернулся в комнату и стал переодеваться.

Когда он вышел из дому, лужи уже растаяли. С деревьев с печальным шорохом падали пожухлые листья. Прежде чем безропотно лечь куда придется, они долго и покорно кружились в стылом воздухе. Дворники, недовольно ворча, сметали их в кучи и поджигали. Густой терпкий дым тянулся вдоль улиц, растекался по дворам, переулкам, на-

полняя город грустью последнего прощанья с летом.

Строящееся здание девятиэтажки, огороженное плотным забором с нависшим над тротуаром козырьком, как и говорил Горин, поднималось невдалеке от городского Дома культуры. На обширной строительной площадке вдоль забора стояло несколько бытовок, покрашенных в одинаковый темно-зеленый цвет. Поодаль от них высился подъемный кран с красным флажком на кончике стрелы. Он четко и празднично выделялся на фоне голубого неба.

Невдалеке от крана стоял пожилой мужчина. Курил.

Виктор обогнул аккуратные штабеля отливающих желтизной досок, серые бетонные плиты, подошел к нему, поздоровался, спросил:

— Вы не подскажете, какая из этих бытовок — сантехников?

Мужчина ткнул папиросой в направлении одной из них.

— У которой груда чугуновой фасонины лежит.

— Спасибо.

— Не за что, — буркнул тот, посмотрел на часы, задрал лицо к небу, заорал: — Васька! Чтоб тебе повылазило! Долго ты еще там возиться будешь?!

— Я тебе что, самокат ремонтирую?! — раздавалось в ответ раздраженное. — Взял бы да сам залез, если такой нетерпеливый!

Подходя к бытовке, Виктор услышал жаркую перебранку:

— Ты на кой хрен мои «азики» забываешь?! А?! Я — открываю, он — забывает! — Я — открываю, он — забывает!

— А если ставить больше нечего?

— У тебя всегда ставить нечего! Играть надо, а не дурака валять! Понял?!

— А пошел ты..!

Виктор постучал. Голоса смолкли. Он приоткрыл дверь.

За небольшим, покрытым голубой клеенкой столом четверо парней играли в домино. Пятый — пожилой мужчина в брезентовой робе — сидел на краешке стола и что-то писал. Крепко пахло куrenom.

— Здравствуйте! — сказал он, открывая дверь пошире.

— Здравствуйте! — Мужчина поднял голову.

— Бригадира можно видеть?

— Ну я бригадир. — Мужчина сложил листок, сунул его в карман, поднялся.

— Можно вас на минутку?

— Можно. Слушаю вас, — проговорил он, выйдя из бытовки и оглядывая Виктора с ног до головы.

Виктор переступил с ноги на ногу, не зная, с чего начать разговор. Мужчина смотрел выжидающе.

— Понимаете... — Виктор кашлянул в кулак. — Мне надо знать, что за человек был Сергей Авдеев, как он провел тот день.. Одним словом, узнать о нем как можно больше.

— Вы из милиции?

— А разве видно? — Виктор улыбнулся.

— Догадался... — Мужчина улыбнулся в ответ. — Госстрах такие вопросы задавать не будет. Госстраху акт подавай. — И, помолчав: — Так вы спрашиваете о Сереже? Что ж... — Он огляделся, кивнул в сторону забора, предложил: — Пойдемте туда. Разговор у нас, как я понимаю, будет долгий. Не стоя же разговаривать...

— Так вы спрашиваете о Сереже Авдеенко? — переспросил Виктор бригадир сантехников, когда они сели на приземистую скамейку у врытой в землю бочки с окурками. — Ну что я могу вам о нем сказать? — Он шумно вздохнул, закурил. — Могу сказать одно: очень, очень жалко, что его не стало! По-человечески жалко. Знаете, если откровенно, то смерть иного человека не вызывает у меня больших переживаний. Ну умер и умер... А смерть Сережи меня просто потрясла! И это не слова — поверьте старому человеку. Хороший он был парень! Работящий, честный, а главное — добрый. А что еще надо для того, чтобы быть человеком? Я имею в виду — настоящим человеком...

В глубине строящегося здания раздалась тяжелые, гулкие удары. Зашевелился кран.

— Уж в чем в чем, а в людях я разбираюсь, — продолжал бригадир. — Больше шестнадцати лет бригадирю. Разных людей в бригаде перебивало. Один с виду исполнительный, компанейский, а душа гнилая. В бригаде это же не скроешь, не спрячешь. Здесь не только семнадцать пар глаз, здесь семнадцать сердец. Любовь к людям сердце чувствует. Даже если человек молча любит, любовь свою за показным равнодушием скрывает, за этакой грубоватостью... Да-а... — Он глубоко вздохнул, поднял с земли щепку и стал чертить ею на земле непонятные фигуры.

Виктор смотрел на его руки со взбухшими от долгой работы венами, на загорелую, в частых морщинах шею, тщательно выбритую щеку с приклеенной на месте пореза бумажкой и чувствовал, что ему необъяснимо хорошо с этим в общем-то совсем незнакомым человеком.

— А вот как он тот день провел, извините, не

знаю, — заговорил мужчина, отшвыривая щепку. — Целый день в конторе просидел над нарядами. Конец месяца. Сами понимаете. Но об этом вам может рассказать его напарник. — Он тяжело поднялся. — Я сейчас его позову. Он Сережу лучше меня знает. То есть знал... Я что? Я его только по работе, а они дружили. Минуточку.

Он подошел к бытовке, приоткрыл дверь, громко позвал:

— Валера! Выйди-ка на минуту. Да оставьте вы свое домино! Перекурили — и хватит! Не дядя же за вас работать будет. Хватит, я сказал!

Из бытовки вышел крепкий черноволосый парень. Посмотрел в сторону Виктора, на бригадира, морща лицо, недовольно спросил:

— Чего?

— О Сереже человек спрашивает, — негромко проговорил бригадир.

— Ясно! — Черноволосый кивнул, подошел, сел рядом. Буркнул, протягивая руку: — Валерий.

— Я вам больше не нужен? — обратился к Виктору бригадир. — А то мне в контору надо.

— Если вы все рассказали, то... — Виктор развел руками.

Некоторое время сидели молча.

— Ты с Сергеем на пару работал? — нарушил молчание Виктор.

— Работал, — неохотно отозвался парень, глядя в сторону.

— Ну и что он за человек был?

— Человек как человек! Голова, уши, нос и все остальное.

Виктор усмехнулся, покачал головой, спросил:

— Ты чего такой недовольный? Я вроде тебе ничего плохого не сделал, не сказал.

Парень не ответил.

— Курить будешь? — спросил Виктор немного погодя.

— Можно.

Они курили долго и молча.

— Ты не помнишь, с каким настроением он в тот день на работу пришел? — осторожно поинтересовался Виктор, швыряя окурок в бочку.

— И вспоминать нечего — с хреновым! — отрывисто сказал парень, глядя под ноги. — Обычно шутил, анекдоты травил, а в тот день слова от него нельзя было добиться. Молчал да курил.

— Ты не спрашивал у него, что случилось?

— Пробовал, но он послал меня подальше. А после обеда даже ключа в руки не брал — сел в одной из комнат на подоконник и просидел на нем до конца смены.

— С работы он во сколько ушел?

— Как всегда, в пять вечера. Но не ушел, а уехал на мотоцикле.

— Он всегда на работу на мотоцикле приезжал?

— Всегда. Жил-то он в другом конце города. Пока на работу автобусом доберешься... — Не договаривал, махнул рукой.

— Он давно женат?

— Года три, если не больше.

— Дома у него все нормально было?

— Наверное. Иначе по утрам не шутил бы.

— Верно. — Виктор покусал губы, взглянул на собеседника, спросил: — А мотоцикл он хорошо водил?

— А что? — Парень, щурясь, посмотрел на него.

— Понимаешь... — Виктор замялся. — Административная комиссия пришла к заключению, что состава преступления нет. А это значит, что погиб он... Ну как тебе сказать...

— По собственному желанию, что ли?! — зло и насмешливо спросил парень.

— Ну предположим, что с управлением не справился. Мало ли...

— Что-о?! — изумленно протянул парень, округляя глаза. — Это он-то не справился?! Да вы что там, в милиции, совсем сдурели? С управлением не справился! — Он усмехнулся, покачал головой. — Да он на соревнованиях по мотокроссу выступал! Призовые места брал! Ну вы и даете!

— Я тоже не поверил, — сказал Виктор. — Асфальт, дорога прямая. Отсутствие помех. Но факт остается фактом — погиб!

— Погиб, — неохотно согласился парень и сплюнул.

— Слушай, — помолчав, предложил Виктор, — давай попробуем разобраться вместе. Две головы — не одна. Сам знаешь.

— Давай, — охотно согласился парень, устраиваясь на скамейке поудобней.

— Значит, так. Первое: мотоцикл он водил превосходно, даже великолепно.

— Да это любой из ребят подтвердит! Уж чего-чего, а в этих вещах мы разбираемся.

— Хорошо. Второе: раньше он приходил на работу веселый, а в тот день пришел хмурый. Без настроения. Так?

— Так! — Парень кивнул.

— Выходит, что у него что-то случилось или дома, или по дороге на работу.

— Выходит, — буркнул парень. — Но дома у него ничего не могло произойти. Жену он любил, да и она его тоже, насколько я знаю. Я у них дома много раз бывал и ни разу не слышал, чтобы они ругались.

— Значит, что-то произошло по дороге на работу. Но что? Дырку в талоне предупреждений заработал?

Парень усмехнулся.

— Ладно, оставим это.— Виктор вздохнул, посмотрел, как кран поднимает тяжеленную плиту, спросил:— Ты не знаешь, были у него знакомые в той деревне, возле которой он погиб?

— Откуда? — Парень дернул плечом.— Не было. Я бы знал.

— Но в таком случае, зачем он поехал по той дороге? Ведь эта деревня единственная на шестидесяти километрах дороги...

Парень пожал плечами.

Замолчали.

— Ну ладно! — Виктор решительно встал.— Спасибо. Да! А почему ты мне так неохотно рассказывал?

— Как умел, так и рассказывал,— пробормотал парень.— Да и что этот наш разговор может изменить? Какой был, какое настроение? Дальше-то что?! Человека-то все равно не вернешь!

— Но ведь кто-то виноват в том, что произошло.

Парень саданул ногой по банке из-под шпрот:

— В чем виноват? В том, что настроение испортил? Смешно!

— До свидания! — оборвал своего собеседника Виктор.

— Пока! — ответил парень и вразвалку пошел к девятиэтажке.

Когда он скрылся в подъезде, Виктор посмотрел на часы — они показывали половину третьего.

«Может, сначала к свидетелю съездить, поговорить? — подумал он, покидая строительную площадку.— Жена Сергея еще на работе, а свидетель,

по словам Горина, в отпуске. Чего зря время терять? Решено! Тогда, наверное, надо позвонить Горину. А впрочем, к чему?»

То, что он узнал, ничего не объясняло. Единственное дополнительное сведение — плохое настроение Сергея Авдеенко в день его гибели. Но ведь это не повод губить себя! Настроение может меняться по сто раз за день. И тут парень прав: из-за плохого настроения с собой не кончают. Хотя... Тогда, летом, при виде свадебной машины ему стало так тошно, захлестнуло такое отчаянье, нахлынула такая незаслуженная обида, что и на самом деле — хоть в петлю лезь... А может, Сергея физически обидели — ударили, к примеру... Вряд ли... Физическая боль почему-то во много раз легче переносится, чем духовная. Ладно. Разберемся. В конце-то концов не сам же себя он обидел?

* * *

Попутка подвернулась на удивление быстро. Тяжелогруженный «КрАЗ», соблюдая все правила уличного движения, остановился точно напротив него.

— До деревни подбросишь? — спросил Виктор, открыв дверцу.

— Сотрудника «ГАИ» хоть на край света! — оклабился шофер.— Как-никак свои ребята! — И подмигнул.

Машина взревела, тронулась с места и покатила. В кабине было тепло, чисто и почти не пахло соляркой.

— Щебенку на дорогу возите? — спросил Виктор, чтоб не молчать.

— На нее,—охотно отозвался шофер.—Возим, возим, а как в бездонную бочку — болото.

Дорога петляла между стен разноцветного леса. Уходящее солнце появлялось то слева, то справа. Оно еще грело, но было неярким.

— Случилось что? — любопытствовал шофер.

— Случилось? С чего вы взяли? — удивился Виктор.

— Видно! По вашему лицу. Словами не объяснишь.

Виктор не ответил. Мимо, грохоча, проскочил «МАЗ». Виктор покачал головой.

— Рейсы нужны,—пояснил шофер.—Рейсы — это деньги. Деньги — это хлеб и все остальное.— И зло: — Посадить бы этого умника, который норму установил, за баранку да самого заставить дать эту норму. Посмотрел бы я на его рожу! — И сплюнул в окошко.— А вам, гаишникам, одно — соблюдай правила. Вы бы сначала хорошую организацию работы потребовали с кого положено, а уж потом и с нас... А то, выходит, что мы, шоферы, вроде как козлы отпущения.

— У моста тормозни,—попросил Виктор, когда из-за поворота показались крыши изб.

— Можно и у моста,—буркнул водитель.

«КрАЗ» уехал, оставив после себя густое черное облако от сгоревшего топлива. И голос его двигателя еще долго нарушал загородную тишину.

Виктор подошел к мосту. Под ним текла вода и плыли разноцветные листья. Они были красивы и беспомощны. Перила моста, темные по краям, светились желтизной там, где их сшиб мотоциклист.

Высота, с которой он летел вниз, была внушительной, а внизу лежали валуны... Темные, плотные, похожие на котиков.

Виктор облокотился на перила и долго смотрел на яркие проплывающие листья, ощущая непонятную вину перед погибшим парнем. Наконец, сунув руки в карманы, медленно зашагал в сторону деревьев.

Солнце садилось. Свет его, пронзительно-желтый, скользил по верхушкам деревьев, крышам изб и кой-где золотистой лужицей плавился в окнах. Было тихо и, кажется, очень спокойно в этой небольшой деревушке, находящейся в каких-то пятнадцати километрах от города. Ее можно было сравнить с деловитой старушкой, у которой всегда все на своем месте.

Изба, куда направлялся Боков, стояла справа от моста и была большая, приземистая, словно присевшая на зад, с высоким крыльцом, высоко расположенными над землей окнами. Вокруг — аккуратный забор. У калитки, чуть в стороне, пачка хлыстов осины.

Во дворе, на завалине, сидел парень в выпущенной поверх брюк рубашке, тапочках на босу ногу и курил с очень глубокомысленным видом. Увидев подошедшего к калитке Виктора, лениво поднялся, шлепая тапочками, подошел.

— Здравствуйте! — проговорил Виктор.

— Здравствуйте! — отозвался тот, не выпуская изо рта окурка.

— Я могу видеть Виталия Архипова?

— Ну я Архипов! — Парень щелчком отправил окурочек за забор.

— Я из милиции.

— Ну и что?

— Ничего! — Виктор улыбнулся.— Это я так... Вы бы не могли рассказать мне о гибели того парня? Помните?

— Еще бы не помнить! — Парень нахмурился. — Тут и не захочешь, да запомнишь. Только чего рассказывать? Я милиции уже все рассказал, а добавить нечего.

— И все же...

— Пожалуйста! — Парень пожал плечами, снял с калитки крючок. — Проходите. — У крыльца остановился, спросил: — Здесь, на завалине, будем разговаривать или в избу пройдем?

— Лучше здесь, — сказал Виктор и неожиданно для себя добавил: — Знаете, давно на завалинке не сидел. В городе все скамейки, скамейки...

— Город он и есть город, — посочувствовал хозяин. — Что с него возьмешь?

Замолчали. Из глубины избы послышался плач ребенка — требовательный, нетерпеливый.

— Первенец! — Парень широко улыбнулся и сразу же посерьезнел. — С его появления на свет все и началось! Что смотрите? Я серьезно. — Усмехнулся невесело. — Так получилось, что один человек на свет появился, а другой ушел, как бы уступая ему место... — Покачал головой, пригладил ладонью коротко подстриженные волосы. — Значит, так. В тот вечер я на работе задержался — уборка, сами знаете... Прихожу домой и вижу: жена вот-вот разродится! Стонет, лицо белое, потное. Говорит, позови фельдшерицу, да побыстрей. Знаете, впервые в жизни мне стало страшно. По-настоящему страшно. Оставить ее одну — как оставишь? А что делать? Я на мопед — фельдшерица наша в другом конце деревни живет. — Он кивнул головой куда-то в сторону. — А это верный километр. Я на мопед — а он не заводится... Знаете, всегда так, когда позарез надо. Я и так и этак — завел наконец, поехал. Только из избы откатил — заглох! У меня аж — поверите? — слезы из глаз от

бессилия. Слышу, со стороны города мотоцикл прет. Прет со страшной силой. У меня самого раньше мотоцикл был — знаю. Выскочил я на середину дороги, руки в стороны и думаю: или остановится, или пускай давит... Остановился. С мотоцикла соскочил — и на меня... Что орут в таких случаях, вы знаете. А я ему: друг, говорю, у меня жена рождает, фельдшерицу надо! Слетай! Прощу! Будь человеком! Ну спросил он у меня, где живет фельдшерица. Я ему объяснил. Он — по газам, а я — мопед в руки и бегом в избу. Он быстро вернулся с фельдшерицей. Та меня из избы выгнала. А парень этот — на мотоцикл. Я ему говорю: спасибо, друг! До конца жизни помнить буду! Если парень родится, твоим именем назову.

— Первенец? — спросил он.

— Первенец, — отвечаю.

— Тогда парень будет! — говорит и собирается уехать.

А я ему:

— Подожди немного! Боязно что-то мне одному оставаться. Вдруг еще какая помощь потребуется, а я без колес... Ну что тебе стоит?

— Ладно, — отвечает.

Слез с мотоцикла, сел на хлыст. Я рядом. Сидим. Курим. Вокруг тишина. Кажется, что слышно было, как заморозком лужи стискивает. А я свою избу слушаю. Он неожиданно спрашивает у меня:

— Давно женат?

— Два года, — говорю.

— Жену любишь?

Я удивился. У мужиков как-то не принято о любви спрашивать. Не принято. Но я ему ответил:

— Люблю, — говорю.

— А она тебя?

— Не любила бы,— отвечаю,— не рожала бы...

— Счастливый ты! — Это он мне.— Завидую...
Сын родится. А у меня — была любимой, а стала... — Не договорил, кулак сжал.

— Обойдется! — говорю я ему.— Мало ли что в жизни бывает!

— Не обойдется,— ответил он.— Я знаю. Обошли уже...

Он ко мне боком сидел. Лампочка вот эта,— он показал на висящую перед крыльцом лампу,— ему в спину светила, и то ли мне показалось, то ли на самом деле — но плакал он молча, потому что слеза на щеке была. Я ему ладонь на колено положил, а слов нет — сами понимаете, мужику мужика утешать — дело гиблое. Какие слова говорить, черт знает! Для женщины слова найти можно, это не трудно, а вот для мужика... Тут в избе крик раздался, а следом детский плач. Представляете: была тишина, и не было этого голоса на земле, совсем не было, и вдруг появился! Я вскочил — и к избе. Фельдшерица на крыльце стоит, улыбается, говорит — словно мне букетом цветов по лицу проводит. Сын! Вы извините за эту лирику, но и сейчас не могу от радости очухаться. Я развернулся — и к парню. На всю деревню ору: «Сын у меня, сын!» А он — на мотоцикл. Неторопливо так, деловито, только движения у него были какие-то угловатые — это я потом уж вспомнил. Я ему выпить предлагал — отказался. Тогда решил я его на мопеде немного проводить — фельдшерица все равно в избу не пускала. Представляете, мопед с пол-оборота завелся! Мы некоторое время рядышком ехали. Я его в гости приглашал, еще что-то говорил. А он молчал. Ехали, ехали, и вдруг метров за двести до моста он резко увеличил скорость: аж передок приподнялся. А на мосту, где-то

в конце, его вдруг занесло круто вправо. Когда я подъехал... — Говоривший махнул рукой, выдохнул: — Вот и все...

— Почему его перилами с мотоцикла не вышибло? — спросил Виктор.

— Перила там были — плюнь — и рассыплется. Это сейчас сделали...

— Ну спасибо тебе! — проговорил Виктор, вставая с завалины.

— Не за что, — отмахнулся парень. У калитки спросил: — У него что, мотоцикл неисправен был?

— Разбираемся, — отозвался Виктор.

* * *

От избы, сам не зная зачем, Виктор снова пошел к мосту. Под ним по-прежнему плыли осенние листья. Было тихо, темно, какая-то необычная настороженность царила вокруг. И ему показалось, что сама природа скорбит по безвременно оборвавшейся человеческой жизни.

Виктор вдруг ясно представил себя на месте Сергея Авдеенко. Женщина, с которой он связал свою судьбу, в которую верил и от которой, конечно же, мечтал иметь ребенка и обязательно мальчишку, разлюбила, а может быть, и покинула его. Теперь понятно, почему он гнал мотоцикл неизвестно куда. Гнал с одним желанием — убежать от незаслуженной обиды, от тяжелой боли. И вдруг этот парень. Его счастье. Рождение ребенка. А у него самого за спиной — ничего, совершенно ничего, кроме боли и пустоты...

Виктор представил эту женщину, разлюбившую его. Она виделась ему красивой и холодной, как отшлифованный кусок льда в солнечный день.

Ему даже захотелось увидеть ее. Увидеть — хотя и без встречи с ней все было ясно и понятно.

В город Виктор вернулся на попутке. На этот раз его подвезли на «Жигулях». Хозяин машины до самого города жаловался на дороговизну бензина, отсутствие запчастей, на то, что они с женой всю жизнь копили на машину, а машина начала капризничать. Ее капризы — это деньги.

Расставаясь, Виктор сунул в его охотно протянутую ладонь трояк и хлопнул дверцей.

Город встретил его светом окон и фонарей, сутолокой и шумом. Прежде чем пойти на улицу Энтузиастов, он позвонил домой. Трубку подняла мать.

— Оля не звонила? — спросил он.

— Звонила, — ответила она. — Я сказала, что ты скоро придешь.

— Молодец, — тускло отозвался он. — Я скоро приду! — И положил трубку.

Улица Энтузиастов находилась в центре города, у главного почтамта. Она была похожа на длинную линейку. Дом десять стоял в самом ее начале. Восьмая квартира была на втором этаже. Он решил позвонить, сказать, что ошибся номером квартиры, извиниться и уйти. Только посмотреть на нее, и все. Он и сам не знал, зачем это ему нужно.

Едва он нажал кнопку звонка, как в прихожей послышались легкие быстрые шаги, дверь открылась, и он увидел... Ольгу.

— Ты-ы?! — удивленно и радостно воскликнула она. — Витюша! Проходи! — Она потянула его за рукав. — Раздевайся! Ну что же ты?! — Она внимательно посмотрела на него, испуганно спросила: — Случилось что? У тебя такое лицо!

— Случилось... — пробормотал он. — Извините! — И захлопнул дверь.

— Куда ты, Витя?! — донесся до него встревоженный голос Ольги, когда он уже спускался по лестнице. — Подожди, Витя! Да объясни ты, что случилось...

ПРОТАЛИНКА

Он спал в комнате, на диване. Рядом на стуле стояла пепельница, лежали папиросы и спички.

Раньше он спал в спальне вместе с женой, а сейчас на его месте видела сны его повзрослевшая дочь. Мать приняла ее под крылышко в один из дней, когда дул северный ветер и в комнате было холодно.

— И тебе не стыдно? — язвительно спросила у него жена. — Родная дочь мерзнет, а ты нежишься в тепле...

Через несколько дней ветер сменился, в комнате стало даже теплей, чем в спальне, но жена его не звала. И дочь молчала...

Диван был мал для его крупного тела, но он быстро привык к этому неудобству, и теперь ему нравилось спать одному: не надо было выслушивать бесконечные жалобы жены на нехватку денег, ее желчные рассказы о знакомых, вымученные охи по поводу ею же самой придуманных болезней. Он мог засыпать спокойно, думая только о своем, читать и курить сколько захочется. Ему нравилось просыпаться среди ночи и, устроившись поудобней, слушать тишину, ту тишину, что приходит в квартиру, когда в ней спят люди, и с удовольствием думать, что до утра еще далеко.

Иногда он вспоминал свою жизнь. Вспоминал жадно, стараясь в однотонной серости прожитого отыскать голубую проталинку. И не находил...

...Он спал. И во сне, слушая тихую печальную мелодию, горько, с тоской плакал. Он не помнил, что заставило его проснуться, но, открыв глаза, с удивлением, смешанным с испугом, заметил, что всхлипывает, что по лицу его катятся слезы.

— Плачу?! — громко спросил он самого себя, глядя широко раскрытыми глазами в глубокую темноту. — Я плачу? — Удивление звучало в его голосе. — Плачу! — признался он немного погодя, вдумываясь в это почти забытое с годами слово. И вдруг ощутил непонятную боль по какой-то давней утрате.

У него было что-то дорогое и светлое... Было, было! Но почему-то ушло, навсегда ушло, оставив тоску и заглушаемую жалость к самому себе...

— Да что это со мной? — растерянно прошептал он, чувствуя, как снова наворачиваются на глаза непрошенные, но и не сдерживаемые слезы. — С чего бы это?

И вдруг вспомнил. Вспомнил тихую печальную мелодию, ту, что слышал во сне. Сердце, словно радуясь этому, сладко заныло.

— Ну хорошо, — продолжал он вслух, и слова гулко разносились в большой комнате — Хорошо. Я вспомню все. Ну и что? Что изменится в моей жизни от этого? Ровным счетом ничего... Но ведь она приснилась мне... — растерянно пробормотал он. — Приснилась же... И это что-нибудь да значит...

Он встал и подошел к окну.

Город спал. Окно смотрело на проспект.

Он уже не плакал. Но боль от незаслуженной обиды жизни, глухая тоска не покидали его.

В тишину упал робкий стук. Он стал настойчивей, смелей, и вот беспощадный ливень смело ша-рахнул по оконному стеклу, проспекту, городу... Он

слышал, как с хрустом, словно солома, ломались струи дождя, ударяясь о карниз. Открыл форточку. Шум дождя стал отчетливей. В лицо пахнуло влажной прохладой и запахом цветущей сирени.

И он вспомнил. Вспомнил сразу.

В ушах вновь зазвучала тихая печальная мелодия, и перед мысленным взором предстала юная девушка, которую он когда-то любил и которая любила его. Он не женился на ней только потому, что она была хроменькой.

Вспомнил теплый летний вечер и их двоих, рядышком сидящих на берегу узкой тихой речки. Вспомнил имя: Шура, Шурочка Петухова. Вспомнил волосы любимой — пушистые, пахнущие сиренью, ее губы — они тоже пахли сиренью... И грустный голос:

— Ты знаешь, я так люблю эту мелодию...

Ее лицо, такое печальное, и слова:

— Не надо меня целовать... Мне так хочется плакать...

...Он сидел на диване до самого утра. За окном, не умолкая, шумел дождь, в комнате горько и сладко пахло сиренью...

И только перед самым рассветом понял, что, сам того не замечая, все эти годы был согрет той первой своей любовью. Юная нежная девушка, запах сирени, забытая музыка — единственная голубая проталинка в его жизни.

ПРОЩАНИЕ С ЗИМОЙ

В город, где раньше никогда не был, Леонид Стуков приехал поздно ночью. Его никто не встречал.

— Плохо, когда тебя никто не ждет,— продолжая начатый еще в дороге разговор о жизни, горько заметил проводник, сходя следом за ним на перрон.

«Мягко сказано,— подумал Стуков,— ой, мягко!»

— Иной раз, поверишь, аж до слез хочется, чтобы хоть какая-нибудь собачонка в ноги ткнулась, лизнула, поскулила, а то...— проводник не договаривал, плюнул под колеса вагона. Глядя вдоль длинного состава, грустно добавил: — Меня вот уже четвертый год только одиночество после поезда встречает...— Шумно вздохнул.— Жена померла, а дети...— Печально усмехнулся.— Что я им сейчас? Отгорел я для них. У них, молодых, свои заботы...

— А у меня детей нет,— уронил Стуков, глядя под ноги.— У меня только квартира, работа, деньги да здоровье...

— Да-а...— протянул проводник.— Жизнь, что бы там ни говорили, она не круглая...

— Это верно,— согласился Стуков.— Не круглая...

«Поезд сообщением «Ленинград — Мурманск» отправляется с первого пути. Просим пассажиров...»

— Ну будь! — тепло пожелал проводник, поднимаясь в вагон.

— Буду! — кивнул Стуков, доставая сигареты. Усмехнулся, добавил: — По крайней мере буду стараться! Уж что-что, а этого мне никто не запретит.

Состав мягко тронулся с места, и вскоре последний вагон, таща в темноту два красных огонька, пропал вдали, за поворотом. Стуков остался один.

Было прохладно. Тихо. Весеннее небо казалось

необыкновенно высоким, черным и звездным. На маленьком перроне, покрытом тонкой пленкой льда, как в зеркале, отражались фонари, белое здание вокзала, газетный киоск и несколько стоящих друг против друга скамеек.

— А вы знаете, моя Маша снова не приехала,— неожиданно прозвучал рядом жалобный голос.

Стуков вздрогнул, резко обернулся.

Рядом стоял невысокий пожилой мужчина в демисезонном пальто, из-под которого виднелась белоснежная рубашка. На голове его была шапка-ушанка, на ногах до блеска начищенные полуботинки.

«Черт возьми! — раздраженно подумал Стуков.— Так недолго и заикой стать».

— Не приехала! — продолжал человек.— А я все жду, жду...

— Значит, придет,— бездумно отозвался Стуков, хотел добавить еще что-нибудь ободряющее, но, взглянув на него, поперхнулся. Взгляд мужчины был странен. Что-то в нем было не так, совсем не так, как у тех людей, с которыми ему приходилось общаться. Взгляд поражал пугающе-тревожной откровенностью. Он был весь на виду, этот взгляд.

— Конечно,— убежденно проговорил мужчина.— Я ведь жду. И она это знает. Я...

Но Стуков, не слушая, торопливо зашагал к вокзалу. Открывая дверь в зал ожидания, оглянулся. Мужчина стоял на самом краю перрона и смотрел вдоль железнодорожных путей.

Зал ожидания был пуст. Шаги по выложенному керамической плиткой полу прозвучали четко и тулко.

Стуков огляделся. Над дверьми напротив висели большие электрические часы. Справа были два

закрытых окошечка билетной кассы. Слева от дверей — автоматическая справочная. Рядом на стене висели телефон и расписание поездов. Еще левей — широкий проход, в котором виднелись ряд стоящих вдоль стен скамеек и дверь буфета с большим висячим замком.

Стуков постоял, поставил на одну из скамеек «дипломат» и подошел к окнам. Они были чисты и смотрели на город.

Он начинался с небольшой полукруглой площади. Широкая, залитая оранжевым светом фонарей улица убегала с нее в глубину города между расступившимися пятиэтажными домами. Далеко впереди она сворачивала направо и пропадала. Снег лежал только на одной ее стороне — той, что доставало меньше дневного тепла.

Стуков посмотрел на часы, вздохнул, сел на скамью, застыл, глядя в одну точку и ощущая непонятное сладко-тревожное беспокойство.

Неожиданно громко хлопнула дверь, прозвучали и замерли рядом тяжелые неторопливые шаги. Стуков оглянулся. Невдалеке от него стоял милиционер — толстый, с короткими руками, с красным лицом.

— Здравствуйте! — произнес он густым басом, оглядывая Стукова быстрым внимательным взглядом.

— Здравствуйте! — неохотно отозвался Стуков, поворачиваясь к нему всем телом.

— А я уж думал, не рыбаки ли собираться начали, — проговорил милиционер, подходя ближе. — По времени вроде бы рановато... Да кто их, рыбаков, поймет? Иной раз за два часа до отправления поезда приходят. Сидят, курят. А курить... — Он показал рукой на прикрепленную к стене табличку: «Не курить». — Вот и воюю с ними по обязаннос-

ти. — Широко улыбнулся, спросил: — Сигареткой не угостите? А то на дежурстве смолю одну за другой — никаких запасов не хватает. Хожу из угла в угол и смолю. А что делать? Она для меня вроде как соска для ребенка. — И снова улыбнулся. Неторопливо разминая пальцами протянутую ему сигарету, неожиданно перейдя на «ты», спросил: — Чай пить будешь?

— Чай? — переспросил Стуков. — Не откажусь...

Чай пили в небольшой комнатке линейного пункта милиции, за маленьким чистым столом, на котором лежала толстая тетрадь и стояли телефон и будильник.

— Так, говоришь, в командировку приехал? — спросил милиционер, доставая из тумбочки чашки, вазочку с печеньем, сахар.

— С чего ты взял? — удивился Стуков, глядя, как тот снимает со стоящей в углу комнатки, на полу, электрической плитки чайник.

— Ну как же? — спокойно проговорил тот, высыпая в ладонь добрую порцию чая. — Если б к родственникам, то на вокзале не сидел бы. Если б не первый раз в городе, то в гостиницу пошел бы. А так... — Высыпал чай в заварной чайник, наполнил его кипятком, шумно уселся на табурет, подмигнул. — Дедукия... — И снова весело рассмеялся.

— К женщине я приехал, — неожиданно для самого себя сказал Стуков.

— К красивой? — заинтересованно спросил милиционер.

— Обыкновенной.

— Э-э! — Тот повел указательным пальцем. — Не говори! К обыкновенным на поездах не ездят...

— Как знать... Кое-кто и ездит.

— Да ты на меня не обижайся. Мне просто поговорить хочется,— примиряюще сказал милиционер, разливая чай по чашкам.— Говорун я. А о чем нам, мужикам, еще говорить, как не о женщинах? Я вот давно женат. Комплекция...— Он хлопнул себя ладонью по выпирающему животу.— А о женщинах поговорить хочется, и всегда с большим удовольствием. Имею право, потому что я человек живой и любознательный. Верно?!— И рассмеялся.

Стуков тоже невольно улыбнулся. Помешивая ложечкой в чашке, вспомнил о странном мужчине, кивнул в сторону перрона, спросил:

— Мужик там какой-то странный. Жалуется, что его Маша не приехала.

Милиционер помрачнел. Долго и старательно разжигая сигарету, заговорил неохотно:

— Не в себе он. Жена у него в прошлом году на юге умерла. Отдыхать ездила. Телеграмму дала, что выезжает, чтобы встречал. И умерла. Говорят, прямо на вокзале. Сердце. Ему сначала одну телеграмму принесли, а через два часа другую... Ходит вот, встречает. Ждет...— глубоко вздохнул, спросил:— Еще чаю налить?

— Можно.

— Грустная история. А что сделаешь? Жизнь!— хмуро проговорил он, наполняя чашку.

— Жизнь,— согласился Стуков.— Она такая. Ей взятку не дашь, и на ничью она не согласна. Ей или — или...— Горько усмехнулся.

Милиционер внимательно посмотрел на него, хотел что-то сказать, но только покачал головой.

Замолчали. Тренькнул и тут же стих телефон.

— Странно жизнь устроена,— задумчиво заговорил Стуков, вертя в пальцах чайную ложку.— Чертовски странно! Вот ты, наверное, не поверишь,

но буквально какие-то двенадцать часов назад я не только не думал ехать в этот город, я даже не знал о его существовании. И вот я здесь. А во всем этом городе у меня только один знакомый человек — женщина, которая написала мне: «Приезжай, если хочешь». «Если хочешь...» — повторил он и покачал головой.— Женский стиль жизни: и не отталкивает, и не зовет, а так... На твое мол, мужчина, усмотрение. Тебе, дескать, жить.— Стуков взглянул на милиционера.

— Они такие! — охотно согласился тот.— Хитрые. Их на кривой трудно объехать. Хотя...— Качнул головой.— Случается...

— А что мне было делать, если она у меня тут? — Стуков прикоснулся пальцем к груди.— Если надежда на хорошее в сердце барахтается? Я бы хотел, если честно сказать, к ней сейчас пойти. А вот сижу, с тобой разговариваю. И пошел бы, да боязно. Приду, а она мне: «Здравствуй и — до свидания!» Ведь не скажу я ей так сразу, что могу с ней навсегда остаться. Есть же и у нас, мужиков, своя, мужская, гордость, в конце-то концов!

— Ты давно с ней знаком? — помолчав, поинтересовался милиционер.

— Виделись часа три, наверное, не больше.

— Ты что?! Серьезно!? — изумился тот.

— Да уж куда серьезней! — Стуков усмехнулся.— Я и сейчас не пойму, что со мной, как это все произошло. Стою на трамвайной остановке у Московского вокзала. Мне на Мойку надо было, к знакомому. Стою. Вижу идет женщина. Женщина как женщина. Ничего особенного. Подошла ко мне, спросила, как до Писательских мостков доехать. Глянул я на нее — и все! Понимаешь, глаза у нее... Родные какие-то. Ну словно я, глядя в эти глаза, всю свою жизнь прожил. Словно...— Стуков поше-

велил пальцами, подбирая слово. Не нашел. Махнул рукой. Замолчал.

Зазвонил телефон. Милиционер лениво поднял трубку, нахмурился:

— Чего тебе? А где же я еще могу быть?! Спи! Что? Приходи да проверь! Тогда спи! И нечего мне тут...— И бросил трубку.— Жена справляется: на работе ли.

— Любит, значит.

— Любит! Любит, да контролирует. Дура! Четверо детей, а она...— И неожиданно: — Ты в Ленинграде кем работаешь?

— Скульптор я.

— Понятно,— уважительно проговорил милиционер.

Снова замолчали.

Стуков смотрел в окно. Смотрел долго, не отрываясь. Заговорил медленно, словно вслушиваясь в самого себя:

— Не везет мне. Всю жизнь, сколько себя помню, словно кто нарочно подножки ставит. Будто я кому-то попереk горла встал. То одно, то другое... И, кажется, конца этому не предвидится. Жена ушла. Пока халтуры делал: барельефы, памятники — и большие деньги зарабатывал, жила. А мне надоело ерундой заниматься. Думал, на работе обиду свою через камень выплесну. Да верно, и камень обиду чувствует. Наказал...— Стуков положил на стол правую ладонь.— Три пальца отдало. Пытался с женщинами знакомиться, полюбить кого-нибудь...— Махнул рукой.— Все есть у меня: и квартира, и работа... И ничего нет! А надо-то самую малость: глаза родные видеть.— Вдохнул.— Верно умные люди говорят: все делается без нашего согласия. Жизнь... Не жизнь у меня, а зима. Тепла нет...

— Кончится зима,— негромко сказал милиционер.— Не бывает так, чтоб все плохо да плохо. И женщина эта, уж ты мне поверь, хорошо тебя встретит. У меня на эти вещи интуиция!

— Дай бог! — Стуков улыбнулся, провел ладонью по лбу, поднялся.— Пойду я. Чего резину тянуть? Как говорится, или пан, или пропал. Выгорит — я к тебе. Больше не к кому. Ты до которого часа дежуришь?

— До двенадцати.

— Если до этого времени не приду, пожелай мне счастья. Ну а приду...

— Она на какой улице живет?

— Пролетарской.

— Прилично шагать. Пойдем покажу, как добраться... Значит, так,— заговорил он, когда вышли на улицу.— Видишь, высится девятиэтажка?

— Вижу.

— Возле нее перейдешь на другую сторону улицы. Увидишь книжный киоск. От киоска свернешь направо. И прямо. Там рядышком. Пошли?

— Понял.

— Ну счастливо! — милиционер дружески хлопнул его по плечу, легонько подтолкнул.

Рассветало. Город просыпался. Нет-нет и хлопали двери подъездов. Оглядываясь, переходили улицы редкие прохожие. У газетных киосков, негромко переговариваясь, покуривая, стояли люди. Проехал пустой автобус, медленно прокатило такси.

Стуков, сам того не замечая, шел очень быстро. Не глядя по сторонам. Шаг сбавил, когда подошел к дому, где она жила.

Это была длинная пятиэтажка. Подойдя к нужному подъезду, он сел на стоящую у входа ска-

мейку, закурил. Курил жадно, поглядывая то на окна, то на двери подъезда.

«Хватаюсь как утопающий за соломинку! — подумал он с непонятной для себя грустью. — Да и как не хвататься, когда тебе за сорок, когда от тебя счастье убежать может?»

В подъезд вошел осторожно. Так же осторожно поднялся на третий этаж и подошел к двери. Прислушался. За ней было тихо.

«Спит еще», — подумал. Протянул руку к звонку и тут же медленно опустил, отошел, сел на ступеньку.

— Сiju как бедный родственник, — пробормотал он. — Жду. А чего жду? Звонить надо. Не к злу приехал, к счастью своему, наверное.

Кнопку звонка надавил осторожно. Прислушался. Надавил еще раз и услышал неторопливые мягкие шаги и знакомый голос:

— Кто там?

— Я это! — пробормотал он неожиданно охрипшим голосом. Откашлялся и громко: — Из Ленинграда. Леонид. Приехал вот...

— Вы? — прозвучало за дверью, и он не понял, как это прозвучало: радостно или безразлично. — Подождите минуточку!

— Да я чего? Я подожду, — снова пробормотал он. — Мне не привыкать. Чего там... — И вытер внезапно вспотевший лоб.

Дверь открылась неожиданно, и в лицо пахнуло запахом духов.

— Заходи! Чего же ты? — проговорила она, глядя ему прямо в глаза. — Заходи.

— Приехал вот, — сказал он, переступая порог. — Приехал.

— Ну и слава богу! — сказала она. — Я ждала тебя.



Как ты захочешь

Повесть

*Каждый видит, чем ты кажешься,
но не многие чувствуют, что ты есть.*

Я уезжал в длительную командировку. Меня провожал Денис — мой давний хороший знакомый. Мы стояли на пыльном, залитом солнечным светом перроне и молчали.

Когда диктор объявил отправление, я протянул ему руку и сказал:

— Счастливо оставаться, Денис.

Он улыбнулся.

— Пиши, если что... — попросил я.

Он обещал.

Он написал мне только одно письмо.

«Может, уехал куда-нибудь», — думал я, зная его беспокойный характер.

По возвращении страшная весть обрушилась на меня: Денис погиб.

О том, что он вел дневник, я узнал от его родителей. Мне стоило больших трудов уговорить их дать мне его почитать, а затем и выпросить разрешение поделиться его содержанием с вами.

Автор

Надумал вести дневник. Так просто, от безделья...

В конце концов это мое личное дело. Надоест — брошу! Буду стараться записывать события своей жизни как можно подробней. Чем черт не шутит, когда бог спит?! Вдруг да и проявится что-нибудь стоящее в моей писанине!

Итак, поехали!

Сейчас, если верить моим электронным часам, побежали, поскакали, как воробьи, первые минуты нового дня — *четырнадцатого июля*. За окном белая ночь и тишина. Родители давно спят, а я, как бы обязательно сказал отец, — дурью маюсь.

Вчера с вокзала пошел домой, но на полпути передумал и повернул к Генке Вольскому. До армии дружили и куролесили вместе на танцплощадке («пятакче»)... Пошел просто так, чтобы убить время. Генка живет в общежитии строителей, в комнатухе на двоих. Застал его лежащим на койке с потрепанной книгой в руке.

Если книга потрепана, значит — хорошая. Проверено много раз. Плохие, в большинстве своем, всегда как новенькие да еще и в суперобложках.

Увидев меня, Генка неохотно спустил ноги на пол, скорчил недовольную рожу — дескать, какого черта приперся?

— Детектив? — спросил я, плюхаясь на один из замызганных стульев.

— Д-детктив, — буркнул он. Провел ладонью по обложке, оживился: — Отличная, скажу тебе, вещь. Сюжет закручен! — Присвистнул. — Вот послушай!... — Покашлял в кулак. — «Двадцать третьего ноября, во второй половине ночи, а точнее в два часа тридцать минут, в подъезде дома по улице Новой обнаружен труп начальника ЖКО...» Ну и так далее. Сразу быка за рога берет. Теперь

я, пока не узнаю, кто этого начальника на тот свет отправил, книгу не брошу! А то... — Он выпятил губы. — «Стояла тишина. Бабочка перелетала с цветка на цветок...» Тьфу. Надо так начинать, чтобы читателя от книги нельзя было и бульдозером оттащить! Верно?

Я согласился.

— А ты чего пришел? — спросил он.

— Пришел — и все. Нельзя, что ли?

— Можно, — равнодушно уронил он и завалился на койку.

— Чаем бы угостил! — кивнул я на усыпанный хлебными крошками стол.

— Бери да пей! — Он мотнул головой. — Сахар на подоконнике, в банке.

— А пошел ты с таким гостеприимством! — вяло буркнул я, глядя на ползущую по оконному стеклу черную жирную муху.

— Сам пошел, — пробормотал он, не отрывая глаз от книги.

— Закурить дашь? — раздраженно спросил я.

— А ну тебя к черту! — выругался он, запихивая книгу под подушку. — Пришел — и сидит над душой! Другого дела нет, что ли?

— Вот именно: нет! — сказал я. — Скука — хоть бери и женись! Все же какое-то разнообразие...

— Что я и собираюсь сделать в ближайшее время, — уронил он, наливая в стакан чай.

— Что — собираешься? — переспросил я.

— Жениться! — Он сыпанул в стакан столовую ложку сахарного песка.

Я посмотрел на него как на чумного, не зная, верить или нет услышанному.

— Не веришь?! — Он улыбнулся. — А я серьезно. Мы с ней месяц назад заявление в ЗАГС отнесли.

— С кем это — с ней?
— С девушкой.
— А я думал, что с зеброй, — съязвил я. — Имя-то у нее есть?

— Ты ее все равно не знаешь, — неохотно буркнул он, явно недовольный тем, что затеял этот разговор.

— Жениться приспичило? Или как?.. — насмешливо поинтересовался я. — Год, как армию отслужил, а уже... Мало тебя, видать, сержант по плацу гонял!

— Люблю я ее, — негромко сказал он.

— Ну и дурак же ты, хотя в профиль и выглядишь умным!

Он сжал кулак, закусил губу.

— Ты Олега Петуха помнишь? — торопливо спросил я, зная его характер.

— Ну... — Он исподлобья посмотрел на меня.

— Так вот! Он со своей Ирочкой до армии три года встречался да после армии — еще полтора. Угрохали на свадьбу больше двух тысяч, прожили три месяца и разошлись как в море корабли: она поплыла в одну сторону, он — в другую... А тоже: «любимый», «любимая»...

— Раз на раз не приходится, — хмуро пробормотал он и сразу же взвился: — А тебе-то что? Какого черта ты обо мне беспокоишься?! Что хочу, то и делаю! Хочу — женюсь, хочу — разведусь!

— Тебя, дураля, жалею, — протянул я. — Заваришь, не подумав толком, кашу, а потом...

— Сам расхлебаю! — оборвал он. — А ты со своими советами катись! Знаешь, куда?

Я молча встал и ушел...

Домой добирался самой длинной дорогой: через Заводскую, Мелентьевой, сквер. На сердце было гадко то ли от жары, то ли от разговора с Генкой,

то ли еще от чего. Внутри сидело маленькое едкое зло на себя, на весь белый свет. Так и подмывало к кому-нибудь прицепиться: если не подраться, так хоть полаяться. Но придраться, к сожалению, было не к кому — все вокруг было чинно и благопристойно.

На выходе из сквера неожиданно увидел Светлану Шинельникову. Ту самую Светлану, из-за которой меня исключили из школы на две недели, когда я учился в шестом классе. Наколотил я ее тогда. За что именно — уже и не помню. Самое странное было в том, что она мне и тогда очень нравилась. Нравилась — а колотил и дразнил куда чаще, чем остальных девчонок. В девятом классе ребята начали поговаривать, что она в меня влюблена, но говорить можно многое... Я лично этого не замечал, а может, просто не умел замечать...

Она шла, небрежно помахивая красной лакированной сумочкой, в туфельках на высоком каблуке, в белом нарядном платье. Волосы рассыпались по плечам.

Я обрадовался. Догнал. Поздоровался. Она искоса взглянула на меня. И небрежно:

— А-а, это ты, Логинов...

От ее «а-а» меня аж наизнанку вывернуло. «Ах ты, — подумал, — кукла пластилиновая (почему «пластилиновая», я и сейчас не знаю)! Сейчас я тебе настроение-то испорчу!»

Через несколько шагов, чувствуя, что делаю глупость, вежливо и проникновенно говорю:

— Знаешь, Светка, а ты похорошела.

У нее лицо порозовело от удовольствия.

— Пополнела, — продолжал я, все так же вежливо. — Особенно со спины.

Ее, бедную, аж передернуло. Остановилась, губы сжала, глаза сузила. А я стоял и с издевательской улыбкой смотрел на нее, в уме прикидывая, что она мне скажет. И она прошипела:

— Дурак!

— Светочка, — пронел я, — сама-то подумай, что с дурака возьмешь, кроме анализов? Дурак, он — что? Он что видит, то и говорит. Недостаток у него такой, понимаешь...

Она фыркнула и чуть ли не бегом от меня...

Как ни старался я идти медленно, а все равно пришел к своему дому рано. Сел на стоящую рядом с подъездом скамейку, посмотрел на часы и подумал, что лучше целый вечер просидеть на скамье, чем дома выслушивать очередной цикл лекций отца о долге, совести, о месте в жизни...

Начинает он, как всегда, с одной и той же фразы. Меряет комнату из угла в угол, чуть горбясь, руки за спиной, и говорит, говорит, а я, глядя куда-нибудь в сторону, мысленно ему отмечаю. Вслух побаиваюсь: рука у отца тяжелая — проверено, и не раз. Правда, и у меня после армии силенок предостаточно, но отец есть отец, и этим все сказано.

— Мало я тебя в детстве ремнем потчевал, — начинает он как бы про себя. — Ой, мало! — И покачивает головой.

«Вот уж не сказал бы», — мысленно отвечаю я со смиренным видом.

— В твоём возрасте люди в космос летают, — продолжает он, — в космос! — И поднимает вверх указательный палец. — А что ты?!

Я молчу.

— Самолеты испытывают!

«Маловероятно».

— Города строят!

«Согласен».

— В наше время таких оболтусов, как ты, не было!

«Может быть, и не было».

А заканчивает он всегда одним и тем же вопросом: когда я в конце-то концов возьмусь за ум?

Этого я, конечно же, не знаю, но охотно, с готовностью отвечаю:

— Завтра. Прямо с утра!

Он некоторое время исподлобья смотрит на меня, затем говорит:

— Выпороть бы тебя как сидорову козу, да стыдно. Вон какой верзила вымахал! — Потерянно машет рукой и уходит.

Следом за ним, немного погодя, приходит мама. Садится на краешек кровати, долго смотрит на меня, потом жалобно просит:

— Ты, Денис, уж не расстраивай отца. У него и так давление...

Это намного хуже отцовских лекций. Я от всего сердца обещаю ей исправиться, и даже сам верю в то, что говорю, но...

Черт знает почему, но у меня все шиворот-на-выворот получается! Может, оттого, что я сам еще толком не понимаю, чего хочу в жизни? А давно бы пора — армия за спиной. Взять, к примеру, работу. Кем я только не был: разнорабочим, стропа-лем, слесарем, токарем... Наверное, на всех предприятиях города трудился. Ну не лежит душа ни к одной специальности! Хочется чего-то особенного, необыкновенного. А где взять это необыкновенное? Как увидеть? Может, оно рядом... Сколько раз меня в отделе кадров предупреждали: «Смотри, Логинов, допрыгаешься! Легкого куска хлеба не получишь!» и так далее, и тому подобное, и все с выражением, со значением во взгляде... А мое мнение:

уж лучше порхать, чем заниматься нелюбимой работой. Толку-то от нее все равно не будет, раз настроения нет. Попробуй без настроения песню спеть — не получится. Так и работа. Помню, мне как-то пожилой рабочий-строитель говорил, что самое главное для рабочего человека — это настроение, а уж потом мастерство. Где дом с настроением и мастерством построен, так на него и смотреть приятно, да и тепло в этом доме дольше держится, и люди в нем будут жить обязательно хорошо.

А тут на днях вызывали меня в райком комсомола. Вхожу. Сидит за столом молодой парень. Даже не сидит, а развалился, как какой-нибудь фон-барон, авторучкой по краю стола постукивает и тягуче так, лениво спрашивает:

— Ты почему, Логинов, членских взносов не платишь?

А я ему:

— Во-первых, вы мне не «тыкайте». Мы с вами на брудершафт не пили. Во-вторых, платить только за то, что состою в комсомоле, я не буду.

У него глаза — нараспашку! И ручкой перестал стучать, и сел, как все нормальные люди сидят.

— Как это — не будешь?

— Не буду, и — все, — ответил я. — Дайте мне поручение, нагрузку какую-нибудь, чтобы я действительно чувствовал себя в комсомоле. Вот тогда с огромным удовольствием!

Он ладонью по столу.

— Положи билет.

А я ему — фигу под нос. Короче: ушел с предупреждением в учетной карточке.

...Сидел на скамейке долго, уже старухи во дворе по домам разошлись, но сиди не сиди, а идти надо.

Отец и мать сделали вид, что не заметили моего прихода. Я на них не в обиде. Второй месяц не работаю, а жрать — жру... Действительно, тру-тень!

18 июля

Прежде чем продолжить записи, прочитал ранее написанное. Так, говорят, делают писатели. Я, кажется, у Хемингуэя читал, что он поступал именно так. Я, конечно же, не писатель. Ну так и что?

Начало дневника не понравилось. Слишком много диалога. Но интересно. Странно, но на бумаге все выглядит правдивей, четче, чем в мыслях. На бумаге вся мысль на виду. Я вижу ее, а в башке — она растрепана и, как хамелеон, в любую секунду может измениться. Хотя — черт ее знает! Может, это у меня голова так устроена, что в ней мысли мыльные...

Вчера утром валялся на кровати, и вдруг ни с того, ни с сего мысль пришла: интересно, как бы выглядела моя жизнь за последнее время, если бы каждый день окрашивался в заслуженный им цвет? Представил — и увидел беспросветную серость. Куда уж там до радуги!

Что бы там ни говорили именитые люди, но все-таки до удивления странно устроена жизнь человека. Иной раз невольно охватывает ощущение, даже уверенность в том, что все в жизни человеческой происходит по воле случая. Ну разве мог я, хотя бы день назад, даже подумать о том, что буду работать лесником? Да ни в коем разе! У меня просто-напросто фантазии бы не хватило. А вот поди-ка ты! Я лесник и в данное время сижу в избе за грубо сколоченным столом и при свете керосиновой лампы раздумываю о своей жизни и пишу. За ок-

ном тихонько шумит, покачивается рябина, на лежанке сочно похрапывает старик Матвей — старый лесник, вместо которого я буду работать. Но все по порядку.

Шестнадцатого июля, ближе к обеду, меня разбудил настойчивый звонок в дверь. Открыл я ее — и оторопел. На пороге стоял милиционер в чине младшего сержанта, и милиционер этот — Серега Суриков. Тот самый Серега, с которым мы верховодили в нашем районе и с которым меня несколько раз забирала милиция за разные «художества». Я обрадовался:

— Здорово, Серый! Какими судьбами?! — И руку протянул.

Он словно не слышит. Рожу свою в сторону повернул, руку пожал, словно сделал мне великое одолжение, и голосом ответственного работника выдал: «Товарищ Логинов, вы уже больше двух месяцев не трудоустраиваетесь. Должен вас предупредить, что если...» И так далее...

Выслушал я его, не перебивая, а потом вежливо поинтересовался:

— Слушай, что ты из себя шишку на ровном месте корчишь? По званию — сержант младшой, а гонору — как у комиссара! Никак весомость власти почувствовал?

Его, кудрявого, аж скособочило: сначала покраснел, затем побледнел, но марку выдержал, сказал, не повышая голоса:

— Я вас предупредил. В дальнейшем пеняйте только на самого себя! — Козырнул и ушел, аккуратно притворив за собой дверь.

Настроение у меня сразу упало. Хочешь не хочешь, а искать работу придется. Уж кто-кто, а Суриков моего разговора с ним не забудет и при случае припомнит.

Поел и пошел по городским конторам «трудоустраиваться». Сначала вроде берут, а как трудовую полистают — пардон! Под разными предложениями... Я книжку в карман — и за дверь.

Шел в очередную организацию с твердым решением: если и здесь от ворот поворот, то пойду напрямик в милицию — пускай сами трудоустраивают. Вдруг у кинотеатра из «Жигулей» вылезает Витька Шумихин. Мы с ним в УММ работали. Поздоровались. Слово за слово — разговорились. Я объяснил ему, что к чему и попросил совета. Он свой рыжий затылок поскреб, губами, мокрыми от мандарина, почмокал, хлопнул меня по плечу и сказал, как подарил:

— А топай-ка ты, Денис, лесником работать!

— Лесником?! — удивленно переспросил я. — Каким лесником?!

— Обыкновенным! Природа! Сам себе хозяин. Грибки, ягодки, рыбка... Знай за получкой езд. А не нравится... — Он развел руками.

— Возьмут ли? — засомневался я. — Такая работа... Ни черта не делай, а получай... Желающих, поди, и без меня хватает с избытком.

— Во-озьмут, — уверенно перебил он. — Поговорю со своим отцом, он поговорит с кем надо, и дело в шляпе. Ну так как?

Я согласился. Во-первых, надоело сидеть на шее у родителей — совесть-то у меня как-никак, а имеется. Во-вторых, милиция... Осложнять с ней отношения — радости мало.

На работу приняли без лишних слов. В трудовую книжку, можно сказать, и не заглядывали. Такое ощущение, что они всю жизнь только и делали, что ждали, когда я к ним устраиваться на работу приду.

О том, что буду трудиться лесником, родителям сказал вечером. Отец оглядел меня с ног до головы, потер подбородок, хмыкнул:

— Лесник объявился. Тебе среди других берез сподручней шастать, тех, что в мини-юбках ходят. А лес — лес дело серьезное. Это тебе... — как всегда не договорил, махнул рукой и ушел, ворча что-то себе под нос.

Мать выдохнула:

— Ой, Денис, когда ты за ум возьмешься?

Я промолчал. Ушел в свою комнату, завалился на кровать и уснул, не раздеваясь.

Утром с полученными от мамы деньгами — по магазинам. На свою новую работу поехал после обеда. За плечами — рюкзак, в кармане — бумага из лесничества. Добирался на попутке. Вылез у километрового столба с отметкой «Пятьдесят первый» — и вперед по тропинке. Пока по ней топал, думал — помру. Жара! Комары! Тропинка мечется из стороны в сторону, как заблудившийся человек в лесу. Да к тому же рюкзак...

Увидел деревеньку, вернее то, что от нее осталось, когда поднялся на небольшой пригорок: пять изб дряхлей дряхлого — крыши провалились, вместо окон черные провалы. Свети с неба, грей хоть десять солнц, при взгляде на них теплей не станет... Шестая изба лесника, у нее все есть, что положено: добротная крыша, в окнах стекла, над трубой дымок.

За деревенькой небольшое озеро. В воде отражаются облака.

Дверь в избу лесника была приоткрыта. Я поднялся на крыльцо, вошел в просторные сени и постучал в еще одну дверь, обитую старым ватным одеялом. Не дожидаясь ответа, толкнул ее рукой. Она отворилась почти беззвучно.

Слева от порога, у окна, за маленьким столом сидел старик. Сам невысок, а бородачища — что совковая лопата. Борода черная, а волосы на голове белые-пребелые. Мне раньше не приходилось видеть таких.

— Здравствуйте, — сказал я, опуская на пол рюкзак.

— Здравствуй, здравствуй, — неторопливо ответил он, глядя на меня глазами-семечками.

Голос у него хриловатый и протяжный. Кажется, что вот-вот запоет: «Из-за острова...»

— К вам! — официально сказал я, шагнул к столу и протянул бумагу, что получил в лесничестве.

— Садись. — Он кивнул на табурет, стоящий на противоположном конце стола, а сам стал читать, шевеля губами, искоса поглядывая на меня.

Читал долго. Печать разглядывал тоже долго. Хорошо еще, что на свет не смотрел. Смех один с этой стариковской подозрительностью, недоверием.

Наконец отложил бумагу в сторону.

— Денисом, значит, зовут?

— Денисом.

— Ну а меня Матвеем. Отчество не обязательно.

Я кивнул.

— Значится так, — помолчав, обронил он, поглаживая бороду маленькой ладошкой. — Сымай свои бахилы и проходи знакомиться. А я покуда чай поставлю да на стол накрою. Все ж гость!

— С кем знакомиться? — удивленно спросил я.

— С избой, — ответил он, наполняя чайник водой из стоящего справа от порога, на скамейке, поди.

— Зачем?

— Надо, раз говорю, — сердито сказал он. — От тебя, поди, не убудет, ежели ты ей «здравствуй» скажешь! А она тебя за это теплом одарит, от непогоды укроет.

Я пожал плечами. Чудит дед. «Ну и пускай себе чудит, возраст у него такой...» — подумал я. Снял сапоги, куртку и прошел в горницу.

Горница огромная. Четыре окна. В окна — солнце. На каждом окне по чистой занавеске в крапинку. У окна большой, грубо сколоченный стол. На нем керосиновая лампа и приемник «Родина». Рядом с ним две батареи. Слева от стола, у стены, койка под клетчатым одеялом. На одеяле плоская, как блин, подушка. Справа от стола, в углу, этажерка, наполовину заполненная книгами. На стене двустволка и патронташ с желтовато отсвечивающими патронами. Потолок из широких досок, пол тоже — на одну половицу три городских надо — выкрашены в темно-зеленый цвет. Потрогал стоящий у стола табурет: захочешь — не сломаешь! И — от греха подальше, от лишней воркотни дед — громко и по возможности серьезно произнес: «Здравствуй!» И то ли мне показалось, то ли на самом деле, но что-то мягко проскрипело в ответ.

— Ну как? — спросил дед, когда я вернулся в кухню и сел за уже уставленный снедью стол: — Понравилось?

— Жить можно, — небрежно уронил я, пожимая плечами.

— Жить и в свинарнике можно! — вспыхнул он. — А тебе здесь трудиться придется, отдыхать, думать... ежели умеешь... «Можно!» — И засопел как паровоз своим носом-брюквой.

Я молчал. Смотрел в угол и молчал.

— Ну да ладно! — отошел он, когда мы выпили

по чашке крепкого чая. — Молодой еще... Мозги иглами, как у ежа, топорщатся. Бухаешь первое, что в голову придет... Ничего-о! — Махнул рукой! — Поживешь, шилом патоки покушаешь — все как рукой сымет!

Чай пили долго. Вернее, пил он, я, неспешно отпивая из своей кружки, смотрел в окно, за которым росла рябина и тянулась в лес узенькая и ровная, как туго натянутая нитка, тропинка и пропадала в нем.

Выпив еще одну кружку, дед Матвей перевернул ее вверх дном, встал, ткнул короткопалой рукой в направлении входной двери.

— Пошли, остальное хозяйство покажу.

Показывал не спеша, рассказывал обо всем обстоятельно. Два раза, если не больше, объяснял, как пользоваться примусом. Сходили к лодке, к баньке. Растолковал, сколько дров на зиму требуется, где их брать.

— Да вон их сколько! — Я кивнул в сторону леса. — Пошел да нарубил сколько надо.

Что тут началось! Я уж был не рад, что и сказал.

— Я тебе порублю, супостат ты этакий! — закричал дед, петушком наскакивая на меня. — Ты его охранять должен, рбстить... У него ж нет рук, чтоб себя защищать! И ног тоже нет! Беззащитный он, как ребенок! А ты! Э-эх! — И отвернулся, засопел.

Я молчал. А что скажешь? Все верно. Хотя очевидно, что рубить деревья совсем даже ни к чему. Деревья — оно и есть дерево.

Руби! — продолжал ворчать он. — Вам бы только рубить. Раз топором — и десять лет жизни, а то и сотня лет жизни с земли снесены. Как же — лоды! Грамотные...

Ворчал долго. Я молчал. И, видимо, потому что не возражаю, не спорю, дед Матвей заговорил мягче. Спросил:

— Понял ли хоть, что дурость сказал? Аль нет?

— Понял,— ответил я.

— Ну, тогда ты еще не совсем потерянный человек для людей и леса,— улыбнулся он. Зубы у него крупные, желтые — верно, от курева.— Пошли, сарайку покажу и остальное...

«Сколько у него остального?» — подумал я.

Когда вернулись в избу, он снова сел пить чай. Я стал вытаскивать из рюкзака все, что собрала мне мама, как он вдруг потребовал, чтобы я рассказал ему о себе, о своей жизни, да еще поподробней.

— А это еще зачем? — хмуро спросил я.

— А затем,— строго сказал он,— что я знать должен, на кого лес оставляю. Может, ты зря свой рюкзачок разбираешь. Лес, он... — не договорил, сунул в рот папирсину, задымил.

Я мысленно выругался. Но делать нечего — стал рассказывать. Сел напротив него на табурет, рот раскрыл, а с чего начать, и не знаю — все ерундой кажется. Решил начать с чего попало. Рассказывал и сам же удивлялся тому, какая моя жизнь несуразная: до армии — драки, танцы, отвратительная учеба в школе, девчонки. После армии — тоже ничего хорошего. Одно помнится: служба. А остальное — вода водой... Аж противно.

Долго рассказывал. Чтоб верил дед, детали разные из памяти выковыривал, но рассказывал честно, без прикрас.

Он слушал не перебивая, но смотрел не на меня, а в окно. Грустно смотрел. По крайней мере,

так мне показалось. Когда я замолчал, он неожиданно для меня обронил:

— Нормально прожил. То, что с работы на работу лётал, это ничего, в этом своя польза есть, своя нужность. Душа в тебе беспокойная. А дурость пройдет, ежели не вросла, конечно. Ты, парень, главное, совесть в себе береги, а дальше — ты уж поверь мне, старику,— она сама тебя сбережет. Понял?

— Вроде бы понял,— пробормотал я, глядя в пол.

— И то хорошо,— проворчал он.

Посидели еще немного. Поговорили о том, о сем.

— Ты вот что,— неожиданно предложил дед Матвей,— иди-ка пройдишь по деревне, посмотри кругом. Да не глазами смотри, а сердцем. Глаза что... — Махнул рукой.— На каменюге глаза нарисуй — и она на тебя смотреть будет. Сходи проветришься, а я подремлю малость. Тело отдыха запросило. Оттого и тебя прислали, что устаю быстро... А лес, он человеческого общения требует, потому как любит его, человека...

И пошел в горницу, маленький, усталый... Возбродился на лежанку. А я вышел на улицу.

Солнце жарило, словно с ума сходило. Пахло хвоей, смолой. В городе такие запахи — дефицит.

Избы стоят вдоль берега — в ряд. С берега в озеро тянутся мостки — вернее то, что от них осталось. А ведь было время, и мальчишки с них рыбу удили, а женщины воду набирали, и лодки к ним приставали...

Зашел в одну избу. На улице жара, а в ней прохладно и влажно. Полы гнилые — того и гляди в подпол загремишь. На полу разное валяется: чу-

гун, огрызок ухвата, заслонка, труба от самовара — все ржавое. На стенках висят лоскутья обоев. Печь — груда кое-как сложенных кирпичей, давно забывших, что такое тепло, — ветер да время все слизали.

Постоял в ней — и, как избавление, — к озеру.

Искупался. Вода теплая. Песок горячий, рассыпчатый. Повалялся на берегу. На небо поглазель, на лес. Стоит как истукан. Одна красота, что зеленый. Слышал где-то или читал, что зеленый цвет восстанавливает зрение. Но я-то на зрение не жалуюсь...

Когда вернулся в избу, дед Матвей, сонный и вялый, сидел за столом, курил.

— Познакомился? — спросил силным голосом.

— Познакомился, — ответил я.

— Невеселое знакомство, — выдохнул он вместе с табачным дымом. Усмехнулся в бороду, попросил: — Согрей-ка, Денис, чайку. Что-то меня к пилу потянуло. Соленого вроде бы не ел. Заодно посмотрю, как ты мою учебу понял.

Пока я разжигал примус, рядом стоял, смотрел. Остался доволен.

Снова попили вместе чаю. На этот раз — с вареньем из ежевики. Дед похвастался, что варенье варил сам. Было у него еще варенье из одуванчиков, да съел — уж больно вкусное получилось. Аж губами почмокал. Вкусно так почмокал.

Потом слушали приемник. Странно, но здесь, в тишине, вдалеке от людей, радиоголос воспринимается как-то по другому. Правдивей кажется, что ли. Интересней. Наверное, поэтому и слушали мы его долго. Дед сидел у приемника, покачивая головой, ворча что-то себе под нос, и вдруг спросил:

— Не могу я, Денис, одного понять. Образова-

ние у меня, правда, не ахти какое, но зато война за плечами. Да-а... — Погладил бороду. — То, что война — дерьмо, что от нее, окромя горя да беды, людям ничего не достается, я и без образования понял. А ведь вот находятся в Америке люди — войны хотят. Смерть им людская нужна, что ли? Хотя там, — он мотнул головой в сторону окна, — в конгрессе ихнем, поди, не дураки сидят. Да и президент, я слышал, высшее образование имеет. А ежели имеет, ежели не дурак, так какого тогда черта попустительствует и сам такую глупость морозит, что хоть стой, хоть падай... А? Как ты своей мозгой думаешь?

Я пожал плечами, буркнул:

— Не думал.

— А ты вообще хоть о чем-нибудь думал?! — рассердился он. — Или пускай за тебя другие думают?! Всю жизнь-то плечами не прожмешь!

— Живут же люди, — усмехнулся я, — и ничего. Без неприятностей.

— До поры, до времени, — жестко заметил он. — Придет время — их раскусят и, как гниль в орехе, выплунут... погоди! Язви их в душу! А ты — думай. На то тебе и голова дадена!

«О господи! Дома отец мораль читает, здесь этот старик. Куда от нравоучений деваться?! Мода сейчас такая пошла, что ли, учить?» — подумал я, и вслух сказал:

— Постараюсь! — И стал крутить приемник.

— Да уж сделай милость, — язвительно протянул он. — А не то, помани мое слово, боком это тебе вылезет.

На этом день восемнадцатого июля закончился.

Да! Чуть не забыл. О печке. Печка огромная — почти пол-избы. Побеленная. На белом разноцвет-

ными красками цветочки намалеваны. При печке заслонки, вьюшки, ухваты. Дед несколько раз долго и терпеливо объяснял мне, что где открыть, когда закрыть, но я не очень-то понял.

— Ничего! — успокоил он меня. — Спица зачесется — баню найдешь. Раз дыму поглотаешь, другой — и научишься. Не боги горшки обжигают.

Вот теперь, кажется, все. Пойду спать. Глаза слипаются....

26 июля

Сегодня утром уехал дед Матвей. Я провожал его до центральной дороги. Шли тропинкой: он — впереди, я — следом. За спиной деда, стручком, тощий рюкзачок с пучками каких-то трав и банкой малинового варенья.

Шли медленно. Он то и дело останавливался, вздыхал, спрашивал:

— Как же я без тебя, лес, жить-то буду?

И лес, казалось мне, тоже вздыхал. Я даже подумал, что у леса, может быть, есть свое сердце. Глупость, конечно, а вот пришло в голову.

Уходил дед — словно с самым дорогим прощался.

Пока шли, он мне раз десять говорил: «Береги, Денис, лес. Он добрый. А доброта — ты это позже поймешь, — она поценней любви да счастья. Без нее и любовь, и счастье, да и все на земле — и гроша ломаного не стоят. Береги его. Он ведь как ребенок — доверчивый, беззащитный. В последнее время повадился тут один похаживать, браконьерничать... Поймал бы, да возраст у меня не тот... А ты его залови, обязательно залови! Тебе за это каждая травинка в пояс поклонится, каждая птаха спасибо скажет...»

Я обещал.

Остановил попутку, обнял старика, прижал к себе и впервые по-настоящему почувствовал, какой он маленький и слабый...

Обратно шел медленно и с тоской думал о том, что в избе меня никто не ждет — тишина только...

Сижу вот сейчас один. На десяток-другой километров вокруг — никого. Погода испортилась. По крыше, по стеклам барабанит дождь. Лес шумит, озеро голос подает... Тикает будильник — дед Матвей оставил. На кровати лежат патроны и ружье. Отчего-то вспомнились слезы на глазах деда. Пожилые люди — они сентиментальны. (Будешь сентиментальным, если почти пятнадцать лет на «ты» с тишиной!) Жалею, что не расспросил о его жизни. Хотел, да как-то неудобно было.

За время, которое прожил с дедом, полностью обошел свой участок, узнал, что вменяется мне в обязанность. Работы, если все делать честно, не шиповорот. Дед посоветовал менять план обхода каждую неделю, а если можно, то и чаще.

В город пока не тянет. Поеду, когда хлеб и сахар кончатся.

Пересмотрел книги на этажерке — старье. Больше половины о лесе. Поеду в город — запишусь в библиотеку: коротать вечера как-то надо.

Ну, что еще написать? По-прежнему барабанит дождь. В лес идти неохота — вымокну. Отец давно и правильно заметил, что у меня на месте совести пуп вырос. Что ж, на данный момент он совершен: по праву.

1 августа

Вот уже неделя, как живу один. Ничего страшного. Плохо, что вечера уж очень длинные.

День у меня начинается так: ровно в шесть утра трещит будильник. Старый, а настырный! Перед сном ставлю его в пустой таз, а таз на стол. Грохоту — мертвый поднимется.

Одеваюсь, ставлю на примус чайник и топаю на озеро умыться. Умоюсь, вытрусь полотенцем и какое-то время стою. Вокруг — лес, над головой — небо, у ног — озеро, и — тишина. И все — огромное. Кажусь себе таким маленьким, неловким, неумелым, таким беззащитным... Хотя меня никто не обижает... Все для меня!

Когда возвращаюсь, чайник уже кипит. Пью чай и слушаю мир. Кажется, японцы говорили: если хочешь услышать шум Вселенной — послушай собственное сердце. Своего сердца я не слушаю. Чего его слушать — привык к нему. Сажу и слушаю, как шумит лес, как шлепают по берегу волны.

Напившись чаю, мою посуду в тазу. Дед предупредил: убирай за собой сразу. Накопишь — хуже будет. Отличный совет. Я как-то поленился раз, другой, а потом — мама моя родная! — лучше и не вспоминать.

Управившись с посудой, одеваюсь, как погода прикажет, беру ружье и три патрона: два — в стволы, один — в карман. И в лес!

Вчера с удивлением поймал себя на мысли о том, что настроение леса зависит от погоды (невелико открытие, но оно мое), как настроение человека от встреч, разговоров. «Погоду» для человека делают люди.

Вчера же примерно в километре от деревни совершенно случайно набрел на родник — настолько маленький, что едва не наступил. Вода в нем чистая, холодная. Сделал глоток — так словно кто сосульку в горло всадил и там оставил.

Итак! Я нашел родник. Надо придумать ему

имя. На земле без имени нельзя, тем более — роднику. Не мешало бы и паспорт ему выдать: где родился, где живет и прописан, кто родители. Написать бы все это масляной краской на листе фанеры и повесить его рядом с родником. А что, интересная мысль... И чего только в голову невзбредет, когда один!

На рыбалку не ходил. Собрался как-то под вечер, но после того, как перевернул куба два земли, и нашел всего три червя, желание отшибло.

Уже ощущается приближение осени. Березы, что растут дружной стайкой неподалеку от избы, украсились желтыми прядками. По утрам значительно прохладней, да и росы становится намного больше.

Вчера приснилась мама. Будто стоит она у моей койки и с упреком спрашивает: «Когда же ты, Денис, к нам приедешь?»

Встал, вспомнил сон, и так на душе муторно стало!

Сегодня обошел участок от болота до Бойкого ручья. Клюквы на болоте — уйма. Лежит на мху малиюсенькими яблочками, нежится.

Возвращаясь назад, набрел на целую армию подосиновиков. Надо будет набрать, засушить, и заодно наладить свои отношения с печкой. Зима впереди, да и осень потихоньку-потихоньку, а холодом избу наполняет.

Натопил баню — с ней мы быстро договорились. Попарился — у деда веников не на одну зиму припасено. После парилки — голышом в озеро. Ощущение свободы — полное! Только сейчас я понял, почему малыши так любят ходить голенькими. Чувствуешь себя прекрасно. Словно только что на свет народился!

После бани напился чаю с малиновым вареньем

(дед оставил несколько банок), полежал на кровати, разглядывая сучки в потолке, слушая как шумят лес и озеро.

Интересно, о чем они шумят?

4 августа

Сегодня, ближе к обеду, пришла мама.

Я увидел ее из окна. Выскочил на крыльцо и сломя голову — ей навстречу. Подбежал, ткнулся лицом в ее шею и замер так, как маленький. Еще немного и, честное слово, заплакал бы от радости.

Мама приехала!

Она долго и придирчиво осматривала избу, заглядывала во все уголки, качала головой. Я ходил за ней следом. Показывал, рассказывал, оправдывался...

От мамы узнал, что в мое отсутствие приходила милиция, интересовалась, устроился ли я на работу. Приходила Светлана, спрашивала, где я.

— А ей-то это зачем знать?! — удивился я.

Мама грустно улыбнулась.

— Любит она тебя.

Я фыркнул:

— Если б любила, то давно бы мне об этом сказала.

Мама посмотрела на меня, как на пришельца из другого мира, покачала головой, но ничего не сказала.

Мама привезла большую сумку с продуктами. Как она ее несла от дороги, такую тяжелую?!

Она побывала у меня совсем недолго. Я проводил ее. Расставаясь, она крепко поцеловала меня.

6 августа

Вечер

В лес не ходил. Приболел, а в избе из лекарств только йод да валидол.

Целый день провалялся в постели. На сердце тоскливо, пасмурно и полное равнодушие ко всему темному.

15 августа

Несколько дней подряд прореживал квартальные визиры. Топором намахался до одури. Работа однообразная, скучная. Зато визиры — как пробор на голове у франта. Дня два отдохну и займусь санитарной рубкой.

Вот написал это, а о чем еще писать — и не знаю. Дни похожи друг на друга, как две ягоды с одного куста. Иной раз так хочется, чтобы хоть что-то произошло, случилось. А писать, выдумывая, приукрашивая, нет желания. Врать самому себе — радости мало да и пользы — тоже. Попробую все же что-нибудь выпарапать. Кто знает, может, то, что я считаю мелочью, не заслуживающей внимания, и есть ЖИЗНЬ. Да и есть ли в ЖИЗНИ мелочи?

Последние дни стоит жара. Комаров, особенно на влажных участках, прорва. Ноют, ноют. Что за вредные твари! Но ведь они нужны природе! Зачем? Для экологического баланса? Комарик — для баланса! Ну не смех ли?! А может, они для того, чтобы нас, людей, помучить?

Насобирав грибов, почистил, разложил сушиться на печи, с которой — после глотания дыма, ругани, проветривания избы — наконец «договорился» о хороших взаимоотношениях. На солнечных

местах набрал брусники. Правда, немного. Отвезу домой. Вот мама рада будет! Потом и клюквы собираю. Слышал, что она хорошо помогает при давлении.

Лес день ото дня становится все красивей. На осине лист стал багровым. Наберется смелости, сорвется с ветки и, качаясь челноком, лодочкой, медленно и мягко летит на землю. Ложится спать на долгую зиму. Вернее — на веки вечные.

Утром от безделья, да и любопытства тоже, прочитал все ранее написанное в дневнике и удивился: больно уж все трогательно выходит! То, что подробно — это хорошо, а вот то, что трогательно — это совсем ни к чему...

Только о приезде мамы написано очень мало. Почему? Ведь на сердце было так ласково и хорошо! Так много хотел ей сказать, а слов не нашел. Может, так оно и должно быть? Чем больше любишь, тем меньше говоришь об этом. Впрочем, кто знает...

Заметил, что становлюсь сентиментальным. Хорошо это или плохо? Если здраво разобраться, сентиментальность мужчине не украшает. С другой стороны: зачем прятать чувства за надуманной бравадой, равнодушием, ухмылкой? Раз скроешь истинное в себе, другой, а там и сам не заметишь, как огрубеешь и станешь этаким...

Если бы сейчас здесь была Светлана, я бы для нее такие слова нашел... Ни за что бы не устояла! Впрочем, вспоминаю о ней лишь от случая к случаю, да и то вяло... Что случилось со мной?

Завтра еду в город: надо получить свою первую получку, закупить продукты, записаться в библиотеку.

Заметил интересную особенность: если смотреть на лес с высоты человеческого роста, он видится

совсем не таким, каким кажется, когда пригнешься, а ляжешь — вообще не узнать его. Колыхается над тобой зеленая махина... Шумит... Подметает небо...

Вчера вечером, так просто, ходил к Синей ламбе. Она похожа на небольшое чернильное пятно. Постоял на берегу, побросал в воду камушки. Дурость вроде, а как спокойно и хорошо было на сердце. Слово в детство вернулся.

Возвращаясь, нашел солдатскую каску — ржавую, с рваной дырой на боку. Лежала она в небольшом углублении под высокой елкой. Сам не знаю почему, нес ее до родника. Нанился из него воды и прикрыл каской. Теперь не будут попадать в воду хвоньки, листья...

Как назвать родник, еще не придумал. Хочется, чтобы в его имени были и нежность, и суровость. Попробуй найти такое слово! А надо! Обязательно надо! Слово должно быть таким, как поцелуй любимой при последнем расставании.

Червей все-таки накопал и ездил на рыбалку. Поймал килограмма полтора. Большинство — окуни. Лодка течет. Видно, придется заняться ремонтом. Странно — сам себе ищу работу. Почему? Чтобы скоротать время? Или это потребность, рожденная одиночеством?

Итак, завтра еду в город. Пишу вот, а живу будущей поездкой, встречей с родителями, знакомыми. В разлуке-то были, можно сказать, совсем ничего, а... Впрочем, знакомый — это не друг...

На сердце, невесть почему, сладко-тревожное чувство. Наверное, просто необходимо, чтобы люди время от времени расставались друг с другом, хоть ненадолго. А то вполне может случиться так, что любовь незаметно перерастет в привычку. Автоматизм чувств и дел... Автоматически: «Люблю!» Ав-

томатически: «Здравствуй!» И так далее. Я знаю одного парня, который встречался со многими девочками и каждой говорил «люблю», а когда пришла настоящая любовь, он, сказав это слово своей любимой, засомневался в его правдивости. Ведь может дойти до того, что мы станем похожи на запрограммированных кукол, и наступит время обладающих разумом живых машин. Представил все это — и мороз по коже. Даже пупырышки высыпались по рукам! Бр-р! Страшно!

31 августа

Давно не писал. Честно признаться, временами вообще забывал, что веду дневник. В лесу работы хватает. Работа, хоть и несложная, никто не гонит, не стоит над душой, но... трудиться надо...

Сегодня последний день лета. Природа молчалива, грустна. По утрам туман лениво ворочается в низинах. А лес словно прислушивается к чему-то, ждет...

Шестнадцатого августа был в городе. Мама, увидев меня, обняла, ткнулась лицом в грудь, но не заплакала. Мы долго стояли, обнявшись, в нашей маленькой прихожей.

Отец, прищурившись, оглядел меня с ног до головы, крепко стиснул ладонь, буркнул:

— Вроде повзрослел. И будем надеяться — поумнел! — Хмыкнул. — А и пора, наверное... — Прошелся туда-сюда по коридору, заложив руки за спину, спросил: — Березки в мини-юбках не приезжали еще? — И усмехнулся.

Рассказывал им о своей работе. Слушали внимательно, правда, с переглядкой. Мать вздыхала, Отец то и дело недоверчиво хмыкал,

Сходил в лесничество. Получил деньги. Первые деньги, которые я получил с удовольствием. Я, смешно сказать, почти каждую купюру на вес ощущал: одна — за то, что это сделал, другая — за то...

По дороге домой накупил продуктов. Дома выложил все купленное на стол — мама разберется. Покрутил почти забытый магнитофон и пошел в библиотеку. Там, оказывается, нужен паспорт. Сходил за паспортом. Взял одну художественную и две технические книги. Девушка-библиотекарь Наташа (так ее окликала подруга) — миленькая. Не знаю чем, но миленькая.

Между прочим, странно порой получается. Бывает, встретишь девушку, красивую девушку, а что-то не так в ее красоте, не лежит к ней душа. Красота у нее какая-то колючая. А иная и красотой не блещет, а сердце к ней так и тянется, охватывает такое чувство, будто ты с ней уже давно знаком. И еще одна особенность: если девушки ходят парами, то непременно одна из них красивее другой. Почему? Предположим, что одной хочется подчеркнуть свою красоту, но в таком случае о чем думает вторая? Может, ее тайная цель — привлечь к себе внимание за счет подруги?..

С большим трудом, но уговорил Наташу разрешить мне взять еще несколько книг. Объяснил, что работаю лесником, что приезжать часто просто не имею возможности. Шутливо пригласил в гости. Объяснил, как до меня добираться. Сказал, что в лесу много грибов и ягод. Говорил, говорил... Что-то красноречие нашло...

А как чудесно она улыбается! И смех какой-то солнечный. Уходя, оглянулся. Ребята утверждают, что если девушка смотрит тебе вслед, значит, ты ей понравился. Наташа смотрела! Но сразу же отвернулась...

Вернулся домой, а мама мне прямо с порога тревожным голосом говорит, что Светлана выходит замуж. Я равнодушно пожал плечами.

— Ну и пускай себе выходит. Значит, время пришло.

— Но вы же встречались! — воскликнула мама, округлив глаза. — Как же так? Она же тебя любит!

— Ну и пускай себе любит, — усмехнулся я. — Значит, так и любит.

Она обиженно замолчала, а я завалился на кровать. Как-то не по себе было: нравилась мне Светлана, что уж там скрывать!

Ближе к вечеру пошел к Генке. Узнал, что у него уже была свадьба.

— Что ж не пригласил? — криво усмехнувшись, спросил я. — Ведь мы, кажется, друзьями были...

— Да знаешь... — замямлил он. — Закрутился...

— Ну-ну, — насмешливо сказал я, — продолжай и дальше крутиться! — И ушел.

Было обидно. Значит, с глаз долой — из сердца вон?

Побродил по городу. В нем за время моего отсутствия ничего не изменилось. Люди, как обычно, куда-то спешат, всем что-то надо — суета! И суета какая-то ожесточенная. Это у нас, в маленьком городе. Представляю, какая она в Ленинграде, Москве — там вообще муравейник! Домой вернулся совсем опустошенным. Словно подняли меня за ноги и вытряхнули все, как из мешка...

На этом мои дела в городе закончились. Ощущение — был, не был — полное равнодушие от встречи.

Уехал из города на следующий день утром. Мама на прощание сказала:

— Ты уж там поаккуратней!

Отец нарочито грубовато успокоил ее:

— Ничего с ним не сделается! Парень здоровый. Весь в меня! — И подмигнул.

Маму поцеловал в щеку, пожал отцу руку, на плечи собранный мамой рюкзак и — на попутку.

По тропинке шел быстро, сам того не желая. На сердце легкая тревога и волнение. Пришел — деревенька на месте, изба моя — тоже.

Не знаю почему, но мне показалось, что и лес, и озеро, и деревенька были рады моему возвращению. Откуда оно возникло, чувство такое, уверенность даже — не представляю.

Изба встретила прохладой. Выпотрошил рюкзак. От того, что купил я, можно сказать, ничего не осталось. Мама положила в него то, что мне действительно надо: сахар, крупу, концентраты, соль, жир и зачем-то пищевую соду. Может, потому, что у меня раньше нет-нет и появлялась изжога. Но это когда было-то — до армии.

Положил продукты в большую хозяйственную сумку и повесил ее в сених под потолком на толстой леске — дед Матвей научил. Иначе мыши все попортят.

Сварил суп из пачки концентрата на примусе, поел и завалился спать. Поспал немного — и в лес...

С того дня прошло уже больше двух недель. Летит время...

Интересно! А может, оно где-нибудь откладывается, концентрируется... Вообще не пропадает... И имею в виду время для нашей Земли.

Пишу и слушаю лес. А он шумит, шумит... И озеро шумит, но другим, более плотным голосом. А я вот сижу и заполняю при свете керосиновой лампы обыкновенными словами лист белой бумаги.

Записываю, не вдаваясь в ненужные, на мой взгляд, детали, то, что запомнил. Зачем, спрашивается? Для чего? И почему? От одиночества? От потребности поделиться? Пишу и пишу — значит, наверное, так надо!

Собаку завести, что ли? Все ж живое существо будет рядом. Да и какой я лесник без собаки? Решено! Поеду в следующий раз в город и подберу с улицы какую-нибудь собачонку. Их сейчас много по городу бегает: грязных, голодных, просяще заглядывающих в глаза людей, верно, не столько затем, чтоб накормили, сколько затем, чтоб погладили...

Противно устроен человек, вернее — его психология. Если за щенка заплачено, он его не выбросит — денег затраченных жалко. А за дворняжку...

Вспомнил Наташу... Интересно, с чего бы это?

3 сентября

Август, уходя, словно оборвал лето. Чистые, как янтарь, дни сменились хмурыми, неприветливыми.

Вчера проводил своих незваных гостей — Светлану с ее мужем. Даже не проводил, а так...

Во-первых, их приезд был для меня полной неожиданностью. Но по порядку...

В лес вчера я пошел раньше обычного. Настроение, бог весть почему, было отвратительным. Заправляя кровать, завтракая, пытался разобраться, с чего бы это, но не смог.

Едва вошел в лес — выглянуло солнце. Настроение мое природа почувствовала, что ли? Конечно, это обычное стечение обстоятельств, но почему-то хотелось думать иначе...

Лес стало просто не узнать — краски, краски!

Видно, ждет не дожидется первых холодных зорь. Красив и доверчив, как ребенок. Опенки — целыми патагами, груздей — колонии. Зашел на болото — клюква созрела.

Набрал букет листьев. Лес наполнен их тихим, икрадчивым шорохом. Хотя обильный листопад еще впереди.

Подхожу к деревне — шум мотора. Потом вижу, стоят у избы светло-голубые «Жигули», а на крыльце, натянув на колени юбку, сидит Светлана с каким-то мужиком.

— «Неужели муж?!» — с изумлением подумал я. Так оно и оказалось.

Он мне сразу не приглянулся. Может, лицом — постным, мучным.

Я уже не первый раз замечаю, что иной раз только познакомишься с человеком, словом перекинешься, а сердце к нему уже не лежит.

Они, оказывается, медовый месяц проводят, на новой машине путешествуют. Как меня найти, узнали от моей мамы. Инициатором поездки была Светлана. Удивительно! Чего это ей меня увидеть приспичило?! Как на машине проехали? А проще простого. Оказывается, есть плохонькая, но дорожка. Въезд в деревню — с ее восточной стороны. Вот те раз! А я и не знал... Да и откуда было знать, если это меня не интересовало...

Поздоровался. Пригласил в избу. Зашли. Осмотрели. Вежливо похвалили. Правда, муж Светланы несколько раз губы скривил, но это так, мелочь (та самая мелочь, которая жизнь портит).

Продуктов навезли — море. Помимо всего, еще и бутылку коньяка, да не какого-то там, а армянского. Видно, денег куры не клюют.

Светлана стала накрывать на стол, а мы с ее мужем прошли в комнату, сели. Я — на кровать,

он — на табурет, у стола. Помолчали. Гость сидит, вертит головой. Искоса на меня посматривает.

— Слушай, ты чего в лесники подался? Другой работы не нашел или образование не позволяет? — вдруг спросил он.

— Сердце подсказало, — сухо ответил я, глядя в сторону.

— Э-э, брось! — Он небрежно отмахнулся. — Эти сказки о сердце оставь для дураков. — Закинул ногу на ногу и так уверенно, с ноткой пресытившегося человека: — Сердце, дорогой ты мой лесничок, подсказать не может. Решает все, — он кончиками пальцев осторожно постучал по своему покатому лбу, — мозг, а сердце, душа — это все поэзия, к тому же невысокого качества. Мираж — если хочешь. На жизнь надо смотреть не через розовые очки, а сквозь оконные стекла. Так оно верней! Это же ясно! — Пожал плечами. — Взять, к примеру... — Он говорил снисходительно, задрав глаза в потолок. Я не обрывал его — пускай выговорится. А ему — выражение лица выдавало — было очень приятно сознавать, что его с интересом слушают. — Вот многие говорят, — продолжал он, — сердце, красота, дом, польза и так далее, перечислять можно до бесконечности. Вот ты, к примеру, сказал, что подсказало сердце. Предположим, что это так и на самом деле. Сердце! — Он усмехнулся, повел рукой: — Что оно дало тебе, твое сердце? Подведомственный дом, лодку, лес, озеро... Все это... — Не договорил, прислушался к тому, что делает на кухне Светлана и продолжил снова, громче, с явным желанием, чтобы она слышала: — Лесник — это не специальность. Лесником может работать каждый, у кого есть здоровье и мало-мальское образование. А я имею крепкую специальность, которую выбирал головой, а не сердцем.

Я — хирург. У меня не лодка — машина, не подведомственная изба — а кооперативная квартира. Вот так-то... Только не говори мне, что ты доволен работой, жильем. Не надо! — Поморщился. — Живем-то мы один раз, и лгать себе — просто глупо. Что в результате получается? — Он впервые за всю свою длинную речугу посмотрел на меня. — А получается, что верить надо голове, практическому образу мышления и брать от жизни все, что можно, но... — Он поднял указательный палец. — Но в рамках закона. Ты согласен? — Он посмотрел на меня козым взглядом.

Ответить я не успел — позвала. Да и его, по всей видимости, мой ответ не интересовал.

Я сидел за столом, без охоты глотал молочную колбасу, малосольные огурцы,пил коньяк и пытался мысленно ответить ему, но, как на зло, ничего весомого в голову не пришло — только какая-то мешанина из мелких, безвольных мыслей.

Потом мы вышли из избы. Светлана немного ошьянела и громко беспричинно смеялась, поглядывая на меня. Игорь стал копаться в машине, а мы со Светланой сели на ступеньку крыльца.

— Слушай, Светка, — вполголоса спросил я у нее, — где ты сумела отыскать такую сволочь?

— Что?! — резко спросила она. — Да как ты можешь? Знаешь...

— Но ты же его не любишь! — перебил я, глядя в его сторону. — Этого только дурак не заметит. Ты замуж за машину, за квартиру вышла...

— А если и так?! — с вызовом спросила она, дернув плечом. — Кому какое дело?! Жизнь — моя! Как хочу, так ею и распоряжаюсь. По-твоему, я должна начинать с нуля? А зачем с нуля, если можно сразу с сотни?

Мы замолчали. Неожиданно она заплакала.

— Ты чего? — удивился я.

— Я тебя люблю! — вздрагивающим шепотом сказала она. — Я поэтому и приехала... А ты...

— Что? — глупо спросил я.

— Я к тебе потом приеду... Через неделю... Хорошо? — быстро спросила она, заглядывая мне в глаза.

— Зачем? — Я пожал плечами.

Она пристально посмотрела на меня, как тогда в сквере, зло фыркнула и поднялась.

Муж ее вылез из машины, и я увидел, как он вдавил каблуком в землю маленькую, только что начавшую жить елочку.

— Слушай, ты! — громко и зло проговорил я, срываясь со ступеньки. — Филосов хренов! Под ноги смотреть надо, а не только на свою вшивую машину.

Он вытаращился на меня как баран на новые ворота, посмотрел под ноги, пренебрежительно скривил толстые губы:

— Ерунда! Одним деревом больше, одним меньше... Во-он их сколько! — Мотнул башкой в сторону леса.

Я медленно сошел с крыльца, подошел к нему, с трудом сдерживаясь, чтобы не съездить по его сытой морде, вежливо сказал:

— Одной десяткой больше, одной меньше — какая разница. Плати штраф!

— Штраф?! — искренне удивился он. — Какой штраф?! За что?! — И посмотрел вверх моей головы в сторону избы.

— А вот за это самое! — Я показал на елочку. — Не заплатишь — сообщу на работу.

Мне так хотелось, чтобы он не заплатил, но он с этакой небрежностью вытащил из кармана пиджака несколько купюр, протянул мне:

— Бери сколько требуется.

Я выписал квитанцию. Он небрежно порвал ее, усмехнулся.

— Деньги можешь пропить... Как я вижу, у тебя их не слишком много.

— В таком случае, — все так же вежливо продолжал я, — вот вам ваша десятка. Съездите в лесничество и уплатите сами. А квитанцию вышлите на мой домашний адрес. Светлана его знает. В противном случае... — Я развел руками, повернулся к нему спиной и пошел к озеру.

Через некоторое время раздался шум мотора. Они уехали не попрощавшись. Скатертью дорога...

После их отъезда я долго лежал на кровати, смотрел в потолок и думал о том, как трудно к таким людям придаться. Все у них по закону, все вроде бы правильно, но... до тошноты противно. В конце-то концов должен быть у каждого человека свой, личный закон, неписаный. Закон, с высоты которого он должен смотреть на мир, не обижая его. Подумалось, что если б неписанные законы каждого из людей по сути своей были похожи в главном, то насколько быстрее они бы поняли друг друга и нашли общий язык... Но в то же время — какой интерес жить среди однообразия мыслей, помыслов? Черт знает что! Башка кругом идет...

8 сентября

День как день. На улице моросит дождь. Усталый, мелкий.

Ближе к обеду, когда я варил на примусе макароны, раздался негромкий стук в дверь и на пороге появился высокий мужчина в брезентовой куртке и резиновых сапогах, в руке спиннинг, на голове кепка.

— Здравствуй! — сказал. — Деда Матвея можно видеть?

— Нет его... Не работает, — ответил я. — Давно уже.

— Не работает?! — удивился он. — Но как же... — И зачем-то оглянулся.

— Возраст, — ответил я, снимая кастрюлю с примуса и ставя ее на стол.

— Понятно, — уронил он. — Извините! — И к дверям.

— Может чайку попьете? — предложил я.

— Чайку? Это можно. — Он стянул с головы кепку, прислонил к стене спиннинг, сел за стол. — А я вот на рыбалку. Дай, думаю, «шнурков» потягаю....

— Шнурков? — Я удивленно посмотрел на него.

— Шурят, значит! — Он улыбнулся.

Улыбка у него хорошая, открытая.

— Сидел, сидел дома — надоело, — продолжал он, пододвигая к себе налитую мною кружку чая. — Жена ворчит, телевизор бубнит — скука зеленая... А ты давно здесь работаешь?

— Не очень, — ответил я. — А что?

— Да так... — Он пожал плечами, сделал шумный глоток, спросил: — Ну и как, нравится?

— Пока не знаю. — Я тоже пожал плечами.

— Понравится, — убежденно проговорил он. — Лес — он всем нравится. Он добрый, богатый... А вот среди людей, богатых людей, доброго не найдешь... Человек, он как устроен? Чем больше у него есть, тем ему больше надо...

— И вы так устроены? — спросил я.

— А я что, святой? — Он снова улыбнулся. — Вот поймал пару щукарей, вроде бы и хватит на уху, так нет, еще хочется! Тебе на уху оставить одного?

— Если не жалко.

— А чего жалко-то? — удивился он. — Я тебе щукаря, а ты мне, при случае, покажешь, где ягод можно набрать. Да тебя как зовут-то?

— Денисом.

— Ну а меня Валентином. Будем знакомы.

Ладонь у него была жесткой и цепкой.

— А чего собаки не слышно? — спросил он, отставляя в сторону кружку.

— Нет собаки, — ответил я.

— Лесник без собаки — это не лесник, — заметил он. — Ну ничего, я тебе достану. Лайку! — Обвел взглядом избу, поднялся. — Мне пора. Извини, что побеспокоил. Пошли, щукаря дам. — Кивнул в сторону сеней.

Прощаясь, он снова протянул мне руку, улыбнулся.

— Счастливо оставаться, Денис. А собаку, вернее щенка, я тебе на днях принесу. — Наморщил лоб. — Дня этак через четыре... Устраивает?

— Конечно.

Он взмахнул рукой и пошел в сторону дороги, а я вернулся в избу, почистил рыбу, присолил, чтобы не испортилась, и пошел в лес.

Вернулся вечером. Сварил уху. Поел. Почитал книгу и вот пишу. По-прежнему идет дождь. Хоть бы перестал к утру. Сколько можно лить? Боженька, верно, совсем с ума спятил.

13 сентября

Утром, едва я продрал глаза, за окном послышался шум мотора, затем четкий хлопок дверцы, неторопливые, размеренные шаги, короткий стук в дверь. И вот передо мной невысокий плотный мужчина в плаще, броднях, кепке.

Я, как был, в трусах, майке, — ему навстречу.
— Здорово! — как показалось мне, устало произнес он. — Спал?

— Спал, — пробормотал я, торопливо натягивая брюки.

— Чаем угостишь? — Он сел на табурет, вытянул ноги. — Попьем — и в лес. Посмотрим, как он тут у тебя живет. Главный лесничий я. Не узнал?

Я отрицательно мотнул головой.

— Ничего, — теперь знаешь...

По лесу ходили долго, неторопливо. Показал, что делал. Что собираюсь делать — его не интересовало. Устали адски.

Уезжая, он хлопнул меня по плечу, мягко сказал:

— Нормально, дружище. Будешь в городе — зайдешь в лесничество. Премию тебе выпишу. Заслужил. Главное, что в тебе есть этакая, — покрутил пальцами, — изюминка... Да! — Встрепенулся. — Ты выстрелов в лесу не слышал?

— Нет, — настороженно ответил я. — А что?

— Поглядывай, слушай во все уши! Ходит тут один. Тертый, будь он неладен! Дед Матвей давно меня о нем предупреждал. Ловим! Да поймать не можем. Лес он знает как свои пять пальцев. Физиономию бы его увидеть. Да что там физиономию! Походку, внешность... Одним словом, если что — сразу сообщай. Бросай все к чертовой матери, бегом до центральной, первому шоферу... Понял? Ну бывай! — Улыбнулся, потряс за плечи и уехал, оставив после себя ощущение надежности, несуетливости.

А лес все больше прихорашивается, словно девушка перед свиданием.

Вчера шел мимо болота, а на нем журавли — штук двадцать. Длинные ноги, длинные шеи, сами

серые, а лоб и горло — черные. Затылок красный. А как вышагивают! Будто нет на земле красивей их птицы!

А в полдень, когда рубил дрова, услышал курлыканье. Летели высоко-высоко, клином. Я долго смотрел им вслед. Да, наверное, не один я смотрел.

Интересно, почему становится так грустно, когда видишь улетающих птиц? Почему так тревожит сердце их нехитрое курлыканье? Какая связь между ними и мной, да и любым человеком? Что может быть общего между нами? Одна земля? Одинаковое желание жить? Одна тоска при расставании с Родиной? ЧТО?

Ведь грусть зря не приходит...

Навестил Бойкий ручей. Знай бежит себе в глубину леса. Причудливо бежит, как самописец по бумаге. А может, это природа снимает кардиограмму сердца леса?

Да! Чуть не забыл. На днях, кажется у ламбушки, увидел березу, а на ней огромный кап. Береза тоненькая, а кап огромный. Как она, бедная, его держит? Не этот ли кап и есть сердце леса? Смешно, конечно, но я приложил к нему ухо, и, что удивительно, мне показалось — нет, оно не стучит, как у нас, людей, а шумит, как листва в солнечный ветреный день...

На берегу ручья увидел молоденькую рябинку (та, что растет у избы, намного старше). Стоит, краснеет, словно услышала признание в любви...

От ручья пошел к озеру — в дальний его конец. По берегу с кустов ольшаника опадают листья. Упадет, через некоторое время свернется в трубочку, потемнеет.

Вода в озере чистая. В ней отражаются деревья и небо. Красиво!

Вернулся из лесу усталый, но довольный. Посмотрел книги, что остались от деда Матвея. Стал читать — и не мог оторваться. Оказывается, в нашей стране существует около сорока видов деревьев. Вот уж не подумал бы! Правда, и страна у нас огромная. Почитал также о лесных жителях. Надо будет серьезно взяться за изучение их повадок, следов. В конце-то концов, они — мои соседи. А хороший сосед, говорят, лучше дальней родни.

Так и просидел за книгами до наступления темноты. Завтра поеду в город: кончились сахар и концентраты. Сахару надо будет купить побольше — буду варить варенье.

Да! Проснулся сегодня с ощущением чего-то необыкновенного, хорошего. Лежал, думал, с чего бы это. Вспомнил только сейчас. Оказывается, прижилась Наташа — библиотекарь.

Интересно, возвращаются ли сны? Если — да, то я бы с удовольствием посмотрел еще раз.

Черт! Как все-таки немного надо человеку для хорошего настроения! Порой одной улыбки достаточно на весь день. Мне вот — сна хватило.

В городе обязательно найду в библиотеку. Может, удастся поближе с Наташей познакомиться. А повод? Я же еще ни одной библиотечной книги так и не прочитал. Дела-а!

15 сентября

Нет! Никогда и никому не понять природу. Если это все же когда-то произойдет, то человек наконец сможет объяснить, что такое любовь, счастье, да и вообще — в чем смысл жизни.

А стоит ли знать это? Не лучше ли для собственной пользы оставаться в неведении? Одно дело — узнать причину своего горя, к примеру; и уж

совсем ни к чему стремиться узнать причину своего счастья. Вот в частности: у меня лежит сердце к этой милой девушке. Милой, а не к «Мисс Европа»! Лежит — и все! И этого вполне достаточно. Вполне!

Вчера целый день лил дождь. Вышел на крыльцо, а на его перилах стоит забытый стакан, полный дождя. Взял и выпил. Кто, кроме меня, еще пил дождь вот так, стаканами? То-то, Денис!

А сегодня припекало солнышко. Воздух прозрачен, но влажен. словно лето вернулось за чем-то забытым... Трава вроде бы помолодела... А может, мне это просто кажется, может, мне хочется, чтобы так и было на самом деле? Сколько «может»...

Пишу, то и дело посматривая на часы. Минут через тридцать пойду встречать Наташу. Приедет ли она, как обещала?

В лес сегодня не пойду. Думаю, что он поймет и простит меня. Небось и сам он в кого-то влюблен. В землю, например, в небо...

Да что это я думаю о нем, как о живом существе! А может, так и надо всегда думать, чтобы самому человеком остаться?

Теперь о вчерашнем дне.

В город приехал ближе к вечеру, как обычно — на попутке. Шофер попался неразговорчивый. Когда я пытался с ним заговорить, он хмуро попросил:

— Помолчи, парень. Не до тебя мне. Своих забот до и выше...

Родителей дома не было. Оставил на кухонном столе рюкзак, написал маме, чтобы купила сахару и все остальное, переоделся, натянул плащ — и в библиотеку. Прихожу — Наташи нет. Сказали, что придет через час. Что делать? Возвращаться домой — нет желания. Пошел бродить по городу

и как-то невзначай подошел к райкому комсомола. Зашел. Секретаря нет. Развернулся — и на улицу.

Когда пришел в библиотеку, Наташа сидела за столом, выдавала книги. Народу в библиотеке, как назло, было много. И все какие-то неторопливые, ленивые даже.

— Приехал вот книги сдать, — сказал я, когда подошла моя очередь, и улыбнулся ей.

Она тоже мне улыбнулась.

Выбирал книги, пока последний посетитель не ушел. Вернее, не столько выбирал, сколько смотрел в просвет между полками на нее, Наташу.

О чем я с ней говорил — помню плохо, но, верно, о нужном, хорошем, потому что она согласилась встретиться со мной после закрытия библиотеки.

Я книги под мышку — и домой. Дома — за утюг. Когда родители пришли, я, высунув язык от усердия, старательно гладил рубашку — самое мутное дело. Брюки отпарить куда легче и быстрее.

Отец несколько раз заглядывал в мою комнату. Откроет дверь, пробубнит что-то за спиной и уйдет. Наконец не вытерпел, спросил:

— Ты это куда собираешься на ночь глядя?

— На свидание, — ответил я, не оборачиваясь.

Думал, начнет снова подковыривать о березах в мини-юбках, а он серьезно так сказал:

— Пора, сынок, пора! — Сел на край кровати, сощурился мечтательно. — Я в твои годы, помню...

Но тут вошла мама, он не договорил, заспешил на кухню. У порога остановился, кивнул в мою сторону.

— А сыночек-то наш человеком становится. На свидание идет... Вишь, как наглаживает. Не то что раньше: сигарета в зубах, брюки — словно на них слон сидел больше месяца, а чванства да уверен-

ности на миллион с лишним. И где только он там в лесу девушку себе отыскал? Просто не представляю.

Я улыбнулся.

— Иди, иди! — замахала на него руками мама. — Себя-то вспомни! Сам-то в каком виде ко мне на свидание прибежал?

— Так уж и прибежал? — засомневался отец. — Может, часы у меня... Может, я часам не верил... Да и время другое было.

— Это какое же время? — протянула мама, округлив глаза. — При чем тут время?

— А ну вас! — Отец махнул рукой. — Спелись вы тут без меня, как я посмотрю. Мужу и слова не дадут сказать! — Переступил с ноги на ногу, еще раз махнул рукой и ушел.

— Видно, пора, сынок, деньги на свадьбу копить, — грустно сказала мама, отбирая у меня утюг. — Вот ты каким стал... — Вздохнула, робко поинтересовалась: — Девушка-то хоть хорошая?

— Мама! — дурашливо воскликнул я. — Да ты меня просто недооцениваешь!

— Всю жизнь только этим и занимаюсь, — усмехнулась она. — Хорошая, говоришь?

— Хорошая!

— Откуда же тогда плохие жены берутся?

— И ты тоже? — хитро улыбаясь, спросил я.

— Я тоже не исключение, — улыбнулась она. — Твой отец мной всегда недоволен. То это ему не так, то другое...

— А человеку всегда хоть что-нибудь, да не так, — уверенно заметил я. — Ему не угодишь... Как говорил мой один хороший знакомый: очень хорошо — все равно нехорошо!

Она искоса посмотрела на меня, протянула рубашку.

— Иди шею вымой...

На место свидания я пришел минут на пятнадцать раньше. По-прежнему крапал дождь. Подняв воротник плаща, стоял, ждал и со стороны, наверное, был похож на гангстера или детектива, но только не на человека, который ждет понравившуюся ему девушку.

Стоял, ждал, а на сердце кошки скреблись. С девушками я и раньше встречался, но те встречи никогда не волновали меня. Пришла — хорошо, нет — не велика потеря, а тут...

Наташу увидел издалека. Она шла неторопливо — в красном плаще, в голубенькой шапочке — под дождем, в свете фонарей.

Подошла, протянула холодную ладошку, сказала:

— Здравствуй! — И рассмеялась. — Мы уже виделись, а я...

Гуляли по городу долго. Вначале я совершенно не знал, о чем с ней говорить. С другими, раньше, молол разную чепуху, не обращая внимания на то, нравится это девушке или нет, а с ней... Она тоже молчала. Шла, смотрела то себе под ноги, то куда-то вперед...

Когда расставались, я хотел ее поцеловать, что всегда делал раньше, с другими. Она не стала заслоняться руками, а просто посмотрела мне прямо в глаза и тихо попросила:

— Не надо, пожалуйста.

Меня словно кто дубиной по голове ударил. Отчего-то стало неловко и стыдно, и, сам не знаю, почему, разговорился. Начал рассказывать о том, как живу в лесу, о заброшенной деревушке, о деде Матвее... И наконец пригласил к себе в гости. Пригласил и замер в ожидании ответа, почти уверен-

ный в том, что она откажется приехать, но она согласилась.

— Я обязательно приеду, — тихо сказала она, помолчав. — Ты только расскажи, как до тебя добраться. Ты уже говорил, да я забыла...

Я еще раз рассказал ей про дорогу все до мельчайших подробностей. Сказал, что обязательно встречу. Пусть она ждет меня у километрового столба.

Домой не шел, а бежал. Никогда в жизни мне не было так легко и радостно. А потом долго не мог заснуть. Сидел за столом, смотрел в окно, за которым светились окна домов, фонари, стучал дождь, — и улыбался, улыбался...

17 сентября

Позавчера, когда я прибежал к центральной дороге, Наташа уже ждала меня, правда, не одна, а с бабушкой — невысокой, полной и, на мой взгляд, старомодной старушкой.

— Ну-ка, внученька, — пропела она, склонив голову на бок, — дай-ка я на твоего кавалера гляну, каков он из себя! — И улыбнулась, по-стариковски беззастенчиво разглядывая меня. — Ну что ж, видный, симпатичный юноша.

Наташа покраснела, да и я, верно, тоже. Стоял, смотрел в сторону, не зная, куда девать ставшие вдруг лишними руки.

— Ну здравствуйте, молодой человек! — продолжала старушка. — Меня величают Евдокией Васильевной, а тебя, насколько я помню, Денисом. Что я могу сказать: имя у тебя мужское, красивое... — Заторопилась: — Ну, пошли, пошли... Дорога сама под ноги не кинется! А то не ровен час,

дождик припустит. Ишь, — кивнула в сторону неба, — не улыбочное... Серьезное...

По тропинке шли гуськом: впереди Евдокия Васильевна, следом — я, за мной — Наташа.

Старушка шла не спеша, то и дело останавливалась, говорила, что лучше день под солнцем, чем сто лет под землей...

— Вот, дай бог памяти, помню я... — Она рассказывала, рассказывала о своем давнем, а мы смотрели с Наташей друг на друга и улыбались...

И деревенька им понравилась, и мое жилье. Особенно Евдокии Васильевне.

— Хлебом пахнет, грибами, а главное — тепло, не выстужено, — сказала она, когда все в избе осмотрела, перетрогала. — И чисто...

Знала бы она, чего мне стоила эта чистота, что я говорил, когда, елозя на коленях, мыл пол...

— Ну угощай, хозяин, — сказала она, усевшись за стол.

Я быстро согрел чай, поставил на стол банку черничного варенья, тарелку соленых грибов, заранее сваренную «в пиджаке» картошку.

Пока ели, я выслушал долгую и обстоятельную лекцию о том, как по правилам варится варенье и солятся грибы.

Мы с Наташей молча слушали, искоса поглядывая друг на друга. Старушка, видимо, заметила наши переглядки, потому что неожиданно взялась за бока, заохала:

— Ох, старость — не радость! Где тут, сынок, у тебя полежать можно? Приустала я что-то... А вы погуляйте, погуляйте! Дело молодое...

Мы вышли с Наташей из избы, а старушка в окно тук-тук — меня пальцем поманила. Я вернулся в избу, а она мне:

— Ты уж, сынок, не обижай мою Наташу! —

И не дав мне ответить, замахала руками. — Иди гуляй! Ждет, поди, не дождется...

Когда я вышел, Наташа вопросительно посмотрела на меня.

— Попросила, чем бы укрыться, — пробормотала я.

Мы пошли в лес. Листья мышатами шуршали под нашими ногами. Вокруг было тихо и торжественно. Шли рядом. Наташа смотрела под ноги и очень-очень редко — на меня. Думала о чем-то.

В глубине леса приглушенно барабанил дятел. Замолкнет — и снова. Словно важное сообщение передавал. Может, о нас с Наташей всему лесу, всем его окраинам...

Пройдя немного, я остановился. Наташа посмотрела на меня. Глаза у нее, как мне показалось, стали еще больше, и я увидел в них себя, небо, солнце и лес. Хотел поцеловать, прямо-таки словно кто толкал, но в ней было столько доверчивости...

— Почему ты молчишь? — спросил я, когда мы снова побрели по шуршащей листве.

— А ты? — тихо сказала она.

— Не знаю... — Я пожал плечами, а немного погодя предложил:

— Хочешь, я тебе родник покажу?

— Хочу, — не раздумывая согласилась она. — Знаешь, я ни разу в жизни родника не видела... Асфальт только, фонтаны... Странно, правда?

— Странно, — согласился я.

Родник встретил нас тихим лепетом воды. Она выбивалась из-под небольшого камушка и, скользя по травянистому руслу, убегала в глубину леса тонкой светлой ниточкой.

Я зачерпнул каской воды. Наташа сделала глоток и с трудом перевела дыхание.

— Холоднющая! — сказала она.

Мы сели на ствол лежащего рядом дерева. Сидели и молча смотрели, как падают листья. Потом я признался Наташе:

— Думал, думал, как родник назвать, а так и не придумал...

— Назови Димкой, — быстро предложила она.

— Почему именно Димкой, — удивился я, — а не Генкой, к примеру?

— Бабушкиного сына так звали, — сказала она. — Он в партизанском отряде был...

— Пускай будет «Димкой», — охотно согласился я.

— Может, это и каска его, — тихо и задумчиво проговорила Наташа. — А я из нее воду пила... — И зябко передернула плечами.

— Пойдем назад, — неохотно предложил я. — Ты, я вижу, застыла.

— Немножко, — негромко согласилась она.

И мы пошли назад. Шли медленно. Под ногами по-прежнему шуршали листья и, посверкивая, летели паутинки.

Неожиданно Наташа рассмеялась.

Я удивленно посмотрел на нее.

— Щекотно! — ответила она, снимая с лица паутинку.

А вокруг было так много красок, над головой такое высокое, переставшее хмуриться голубое небо, что остаться равнодушным было просто нельзя.

— Хорошо-то как! — тихо сказала Наташа, когда мы подходили к деревне. — Как в детстве... — Шагнула ко мне, провела ладонью по моей щеке и побежала к дому, придерживая рукой полы пальто. А я смотрел ей вслед. Потом прислонился спиной к березе, и она осыпала меня ворохом листьев...

Когда я вошел в избу, Евдокия Васильевна сидела на кровати и читала книгу, а Наташа смотрела в окно. Она даже не обернулась, когда я вошел.

— Что-то вы больно быстро нагулялись, — заметила Евдокия Васильевна, взглянув на меня поверх очков. — Я, помню, в вашем возрасте подольше гуляла... Аль поругаться уже успели? — Голос ее прозвучал обеспокоенно.

— Ну что вы! — торопливо ответил я. — Просто нам чаю захотелось.

Чай пили молча. Наташа, подперев ладонью щеку, смотрела в окно, на рябину, я — в кружку, Евдокия Васильевна то на меня, то на Наташу...

За окном незаметно потемнело. Лес как бы придвинулся. Поднялся небольшой ветерок, и тишину нарушил шум деревьев и озера.

Я зажег керосиновую лампу, включил приемник. Из него полилась серьезная музыка, которую я, впрочем, как и оперу, совершенно не понимаю. Зачем, к примеру петь: «Я виноват!» — когда можно просто сказать. Разве смысл фразы от того, что ее пропели, изменился?

Неожиданно Наташа встала и вышла из избы. Я посмотрел на Евдокию Васильевну — она пожала плечами. И я вышел вслед за Наташей.

Она сидела на ступеньке крыльца, обхватив плечи руками, и смотрела в сторону озера. Оно было темным и таинственным.

— Я завидую тебе, — тихо сказала она, когда я присел с ней рядом. — У тебя здесь хорошо думается, мечтается. В городе совсем не так. Город подгоняет... — И вздохнула.

— Тебе не холодно? — спросил я.

— Немножко.

Я принес из сеней фуфайку и набросил ей на плечи.

— От нее костром пахнет,— сказала Наташа.— Далеким, добрым костром... Знаешь, таким — с искорками...

Когда мы вернулись в избу, Евдокия Васильевна уже спала. По-прежнему уютно светила керосиновая лампа, роняя тени на потолок, стены.

Мы сели на табурет, рядышком, и стали смотреть в окно, за которым были темнота и неизвестность.

Неожиданно Наташа положила голову мне на плечо и чуть слышно заплакала.

— Что с тобой? — испуганным шепотом спросил я.

— Не знаю, — прошептала она. — Просто так... Плачется.

Неожиданно выглянула луна. Она висела в небе напротив окна и улыбалась. Ее свет уронил на землю тени, наполнил избу воздушным сиянием.

Спать мы легли очень поздно. Наташа забралась в постель к бабушке, а я, не раздеваясь, влез на печь.

— Ты спишь? — неожиданно спросила она громким шепотом.

— Нет, — шепотом ответил и я.

— Ты спи, — попросила она.

— Хорошо, — согласился я, но долго не мог заснуть. Лежал, смотрел в глубину наполненной лунным светом избы, стараясь уловить дыхание Наташи, но посапывание Евдокии Васильевны заглушало его. Заснул незаметно.

На следующее утро, *шестнадцатого сентября*, меня разбудила Евдокия Васильевна.

— Вставай, соня, — шутливо ворчала она, дер-

гая меня за руку. — Этак ты все на свете проспнешь... Гости давно на ногах, а хозяин спит!

Сон как рукой сняло. Я спрыгнул с печки, улыбнулся Наташе, которая расчесывала волосы, взяв полотенце — и на озеро.

Вода была холодной, тяжелой, усыпанной у берега желтыми листьями.

Возвращаясь, увидел Наташу — она смотрела на меня из окна. Я помахал ей рукой. Она мне — тоже.

Позавтракали тем, что приготовила Евдокия Васильевна из моих припасов. Я убрал посуду, и мы втроем пошли в лес.

Утро выдалось развеселое, чуточку прохладное. Над озером летали чайки. Красивые. Вот только крик у них уж больно жалобный, стонущий.

Евдокия Васильевна шла впереди. Часто останавливалась, пела хрипловатым тенорком протяжные старинные песни, с трудом нагибаясь, собирала листья. А то принималась рассказывать, какой хорошенькой была в молодости и что даже сейчас на нее нет-нет и поглядывают, жаль, только старички...

Мы с Наташей смеялись, дурачились, кидали друг в друга охапки листьев.

Неожиданно Евдокия Васильевна погрузнела.

— Разное в жизни было, а помирать не хочется... — Тряхнула головой, добавила: — А ну ее, смерть эту. Поговорим о чем-нибудь более важном... О любви, к примеру... Ка-ак я любила! Вот помню, стал меня обхаживать наш деревенский кузнец Митька Вересов. Высокий такой. Кудрявый...

Гуляли до обеда. После обеда они засобирались домой. Я проводил их. Стоя у бровки дороги, спро-

сил у Наташи, когда она придет еще. «Приеду,— сказала она,— обязательно приеду!»

— Ну, до свидания, Денис! — стала прощаться Евдокия Васильевна, когда я остановил попутку. — Не скучай! — Она искоса посмотрела на Наташу. — А она придет! — И ободряюще улыбнулась.

— Постараюсь не скучать! — весело ответил я, а самому было так нехорошо и беспокойно...

23 сентября

Все прошедшие дни жил встречей с Наташей и ее бабушкой.

Сегодня с самого утра в меня вселилась уверенность, что придет Наташа. Откуда она взялась, эта уверенность, сам не знаю. Заполняю дневник не потому, что хочется, что надо, а просто, чтобы хоть как-то убить время...

Все крепче прихватывают утренники. Туманы становятся гуще, особенно в низинах. Озеро смотрит неприветливо, рядом с ним зябко, да и все вокруг словно насушилось.

Дни стали намного короче. Все чаще висят в небе рваные, лохматые облака и сеет мелкий нудный дождь. Солнце после ночи возвращается неохотно, будто делая одолжение.

Вчера «слетал» в город. Купил небольшой торт, цветов. Посмотрел в окно библиотеки. Наташа давала книги. Словно ощущая мой взгляд, она обернулась, но я успел отпрянуть в сторону. Хотел зайти, поговорить с ней, но почему-то передумал.

Назад добирался, как всегда, на попутке. Рейсовый автобус ходит всего лишь два раза в сутки — рано утром и вечером. Да и народу в нем битком.

Шофер ЗИЛа, по возрасту немногим старше меня, узнав, что я работаю лесником, искренне понавидовал:

— Молодец, дружище! С прицелом на будущее живешь!

— Не понял? — Я посмотрел на него.

— А тут и понимать нечего! — Легко и охотно объяснил он. — Лес — это все! Лес — это золотой каньон. Ты фильм с таким названием видел?

Я отрицательно помотал головой.

— Ну, это неважно, — небрежно обронил он. — Лес — это грибы, ягоды, кора, веники, шишки. Главное — не ленись! Деньги — на сберкнижку. Подкопил, сколько надо, и живи — не хочу.

— А сколько надо? — спросил я.

— Сколько? — Он поскреб затылок, протянул: — Ну-у, это от личной потребности зависит. Мне, к примеру, тысяч шестьдесят хватило бы, наверно.

— Ну и аппетит у тебя! — усмехнулся я.

— А что? — Он пожал плечами. — Мечтать так уж мечтать. Все не сбудется.

— Деньги, деньги! — раздраженно уронил я. — Куда не сунься, чего не коснись — деньги! Помешались все на этих деньгах!

— Ясное дело — деньги! — сказал он, мельком взглянув на меня. — А ты что думал? За «спасибо» тебе и полбуханки хлеба в магазине не отпустят. Бесплатно сейчас могут только физиономию набить! — И сплюнул в открытое окно кабины. — А тебе я от чистого сердца завидую! — продолжал он, помолчав. — Живешь — сам себе хозяин. Начальство над твоей душой не стоит. Благодать. Захотел — пошел на работу, не захотел — пожалуйста, сиди дома. Главное — чтоб все, что от тебя требуется, было сделано в срок и на совесть. А когда ты это сделал — неважно. Хоть ночами, хоть

в праздники. Важен результат. А тут... — Он хлопнул по баранке ладонью. — Крутишься как белка в колесе! Начальство рядом топчется. ГАИ. Пешеходы так и норовят под колеса попасть. А ко всему этому — еще и теща с женой... А-а! — Выругался, спросил: — Ты женат?

— Нет.

— И правильно! Ты, дружище, с этим делом не спеши. Девки — они все хороши, пока женами не станут. Первые месяцы жизни вроде бы ничего, а как ребенок родится — считай, что твое дело — хана. Потому как ты, мужик, для жены становишься вроде приложения... Ребенок! Вот что для нее становится самым главным. Да-а! И еще... Вот я, к примеру, детдомовский, а у нее родни — что в арбузе семечек. Как что — она к родителям. Родители, родственники — дружной ватагой на меня. Попробуй отбейся, если каждый из них орать горазд, если каждый уверен, что моя жена права, а я, конечно же, не прав.

— Развелся бы, — посоветовал я.

— Развелся! — передразнил он. — Легко сказать. А ребенок? Он же мой, а не дядин. Думаешь, моя жена этого не понимает? Еще как понимает и от этого пляшет... Нет уж! — Шумно вздохнул. — Придется мне, видать, свою лямку до конца жизни тянуть... Как те бурлаки на Волге... Тебе здесь?

— Здесь. Спасибо.

— Ерунда, — отмахнулся он. — Не на своем же горбу я тебя вез.

— Будет свободное время, приходи, — сказал я, вылезая из кабины. — По этой тропинке — прямо. Мимо не проскочишь.

— Скучно одному? — поинтересовался он.

— Да как тебе сказать... — Я пожал плечами. — Бывает, конечно.

— Заскочу как-нибудь! Слово! — Он приветственно поднял руку и уехал.

Ну, что еще? Да! Вчера совершенно случайно в чулане обнаружил уют — старомодный, угли внутрь засыпать надо. Отчистил его от ржавчины, а затем не спеша отпарил брюки, выгладил рубашку.

24 сентября

Вчера больше часа простоял у бровки, ожидая Наташу, но она не приехала. А я так ждал! Возвращался к себе как побитый. Здраво разобраться, так ведь она не говорила мне, когда именно придет, в какой день, в какое время... И все же...

В голове разное бродит, и все — недоброе. Неужели к человеку всегда приходят печальные мысли, когда у него что-то не сбывается? Но почему именно печальные?..

Пришел, лег на кровать и до самого вечера провалялся, прислушиваясь к звукам. В лес не пошел, боялся, что я уйду, а она придет... Может, завтра еще раз в город съездить? Встретиться... Поговорить... Но не будет ли это назойливо? Зачем набиваться? Надо, как говорят, держать марку... Вот только как бы не передержать...

Люблю я ее, что ли? Наверное, люблю. Если б не любил — этого вопроса не возникло б, наверное...

27 сентября

Проснулся рано. В избе непривычно прохладно. Быстро оделся — и на озеро. Из избы вышел — и замер. Всё в инее, всё вокруг словно выковано из серебристого металла. И ни малейшего движения, ни малейшего звука. Даже жутко стало. Не-ет, это не тишина лета, тут посерьезней...

Спустился с крыльца, пошел к озеру. Лист под ногами хрустит ломко, звучно, заставляя невольно оборачиваться. Небо тяжелое, но чистое и лишь на востоке розовое.

Озеро покрылось тонюсенькой пленкой льда. Вода неповоротливая, тяжелая. Плеснул в лицо несколько пригоршней воды — и назад, бегом.

После улицы в избе тепло. Растопил печь. Дрова занялись охотно. Еще бы — сухие, березовые. Спасибо деду Матвею. Сколько раз я еще буду вспоминать его добрым словом?

А все же интересно, что дольше помнится человеком: хорошее или плохое? Наверное, то, что тебя меньше всего в жизни посещало...

Сел напротив печи на табурет и стал смотреть на огонь. Есть в нем какая-то необъяснимая сила, тайна, гипноз, что-ли.

По стенам желтоватые блики, а оглянешься — за тобой твоя услужливая тень — огромная, на пол-избы.

Пламя с удовольствием похрустывало полешками, а я сидел, смотрел на огонь да дровишки подбрасывал. А чего не сидеть, если здоров, сыт, молод да и спешной работы нет?

Сидел, сидел — надоело.

Согрел в ведре воду, вымыл в кухне, горнице полы, сварил кашу — поел. Посмотрел в окно — сумрак. Завалился читать книгу и не заметил, как задремал.

Спал, верно, долго. Вскочил как ошпаренный. Дрова в печке давно прогорели.

Загасил керосиновую лампу и вышел из избы. Над лесом выглянул маленький краешек солнца. Всего лишь краешек, но как обрадовалась ему земля! Куда подевалась неприветливая угрюмость озера, скованность тишины — все наполнилось мяг-

кими, скользящими звуками, все вокруг заблестело, заиграло, заперекликалось живым светом.

Бродил по лесу до самого вечера.

Все хорошо было. Повырубал кое-где сушины, подсад лишний, сложил все в одну кучу, да вот только ныло где-то под ложечкой.

С чего бы это? Наверное, потому, что думал о Наташе, о том, почему она не приехала. Вот и стало подбираться чувство одиночества.

30 сентября

С утра болела голова. Не помню, кто-то шуточно говорил мне, что лучшее лекарство от головной боли — гильотина.

Лекарств нет. Почему забыл купить? Не думал о том, что могу заболеть... Как же — молод. А болезни чихать на то, в каком ты возрасте...

Напился горячего чаю с малиновым вареньем, забрался под одеяло. Лежал, потел, а настроение мерзопакостное. Представил: а каково в пустой квартире одиноким старым людям! Они и хотели бы помочь себе, да как? Рядом-то никого, кроме прожитых лет... И еще представил: а что было бы, если б я, к примеру, сломал себе ногу? Подумал — и три раза сплюнул через левое плечо.

Придет же ерунда в больную голову!

Да! Плохо быть одному — и больному, и здоровому.

Пролежал до обеда. Полегчало. Решил пойти в лес. Ружье не брал. Бродил долго. Смотрел, любовался и понял, что у осени есть одно неоспоримое достоинство: с ее приходом начинаешь ценить каждый погожий день, каждый солнечный луч — потому что их становится мало. Когда всего много, это многое теряет свою ценность.

У родника, совершенно случайно, встретил лося. Как он меня раньше не услышал? Или просто не захотел уходить — не боится человека! Зверь вскинул голову, уставился на меня большими темными глазами. Был он огромный, сильный. Несколько секунд смотрел на меня. С его губ с тихим звоном падали в родник капли воды. Я осторожно попятился и ушел, оглядываясь. У лося сейчас время гона, и этим все сказано.

Вернулся в избу, сварил суп, поел, почитал книгу и пошел к центральной дороге. Шел и думал: зачем иду? А ноги сами передвигаются.

Попутку ждал долго. Частников проехало много, но я уже по собственному опыту знаю — не возьмут, хоть того выше руку тяни. Вот если в руке зажата «таньга», тогда другой разговор... Тьфу!

Наконец появился «газик». Шофер попался мрачный, за всю дорогу — ни слова, ни полслова.

Дома, как всегда, никого не было. Приезжаю, когда родители на работе. Побродил по квартире, покрутил магнитофон — и на улицу.

Ноги сами понесли к библиотеке. Заходить не стал. Только посмотрел в окно. Наташа о чем-то болтала с подружкой. Смотрел долго, и как-то легче на сердце стало, спокойней. Словно доброе слово услышал.

Ходил по городу и почти физически ощущал себя в нем чужим. Даже знакомых не хотелось встретить. Да и ему, городу, не было до меня дела. Кто я для него? Один из тысяч его жителей, не более. Страшно чувствовать себя одиноким, когда вокруг так много людей. От этого одиночество еще ощутимей, жестче, беспощадней. Чувствуешь себя совершенно беспомощным. Ходил, ходил как неприкаянный и уже было собрался зайти к Генке, но передумал. Не до меня ему. У него своя жизнь,

свои заботы. Это не детство, когда много общего, когда ты во многом похож на своего товарища — и в мечтах, и в желаниях, и в беде, и в радости... Это взрослая жизнь, в которой детство живет только в воспоминаниях. Да и воспоминания о нем приходят, когда тоска, горе. Когда радость, когда счастлив — воспоминания о детстве на задворках, за дверью — бедным родственником. Э-эх!

Вместо Генки пошел в кино. Посмотрел — мур. Все не то, не то! А что надо? Чего я хочу? Сосет меня какой-то червячок непонятной неудовлетворенности собой, жизнью... Может, и хорошо это?

Зашел в аптеку. Купил таблеток от кашля, от головной боли, каких-то витаминов (по совету продащицы).

Домой шел дворами — значительно ближе. В одном из дворов, у песочницы, увидел великовозрастного щенка. Почмокал губами, присел на корточки. Щенок подбежал, ткнулся в ладони холодным носом, лизнул...

Он весь черный, а лапки белые. Уши висят...

Я посмотрел на окна домов, кое-как спрятал его на груди под курткой — и ходу...

В деревню вернулся, когда почти стемнело. Подходя к избе, впервые в жизни услышал голос лося. Он похож на тяжелый вздох. В нем слышится стон, печаль, жажда любви и свирепость. Мне даже стало жутко. Показалось, будто неведомое существо из мезозойской эры все еще бродит по земле.

3 октября. Утро

Впереди целый день. Что меня ждет в нем? Полная неизвестность! Хорошо это или плохо? Думаю, что хорошо. Хорошо, что день с первым проблеском сознания человека, с первым ощущением

его реальности окутан тайной, неопределенностью. Когда знаешь, что будет с тобой через секунду, час, интерес к жизни, наверное, начисто пропадает...

Вот, к примеру. Обычно я пишу в дневник по вечерам, а что заставило меня писать сейчас, утром? Пишу — значит надо. Да и попробуй отыскать причину... Свихнешься, а не отыщешь.

На столе светит керосиновая лампа, у кровати, на полочке, спит Альма (так назвал щенка). В избе тепло, уютно. Особенно приятен свет керосиновой лампы. Он какой-то земной, сердечный, что ли. Оказывается, яркий свет не всегда нужен, впрочем, как и не всякую песню можно петь громко. Вернее — можно, но не нужно. От громкости она (песня) теряет свою прелесть. А что сейчас получается? Врубят на полную мощность динамики — ор стоит несусветный, создается впечатление, что люди хотят заглушить что-то в себе, забыться или просто не замечать окружающего. Да ведь и сам давно ль гонял магнитофон на полную громкость? Это как? А?

Прочитал в одной книжке вот что: мальчик поймал воробья, зажал его в кулаке и спрашивает у мудреца: живой или не живой? А сам думает: если мудрец скажет — живой, я сожму кулак, и воробей будет мертв. Если скажет — мертв, я разожму кулак, и воробей улетит. Мудрец посмотрел на мальчика и ответил: «Как ты захочешь...»

Какая умная, глубокая мысль в этой притче! А и в самом деле! Жизнь человека зависит от него самого. Никто, даже государство, не в силах заставить его быть плохим или хорошим. Какая у человека совесть, сколько в нем доброты — таково ему и цена.

Несколько раз читал в газетах о том, что людям меняют сердце, безнадежно больное сердце. Думается, что куда бы больше было пользы всем (на мой взгляд, конечно), если б пересаживали не сердце, а совесть...

Взять, к примеру, меня. О совести мне напоминали, зывали к ней если не тысячу, то сотню раз. Зывали, умоляли, упрашивали — жить по совести. Ну и что? Я даже сейчас толком не знаю, есть ли она у меня! А если есть, то какая, какого цвета, прочности... Может, желе какое-нибудь... медуза...

Прочитал также и о том, что человек — единственное живое существо на земле (живое создание), которое плачет. Если верить написанному, то в глазах животных не слезы, а просто бездушная вода...

Прочитал — и словно украли, выкрали из меня что-то необыкновенно важное, нужное, необходимое...

Зачем мне да и многим другим знать об этом? Еще раз ткнуть пальцем, напомнить, какое необычайное создание природы — человек...

Что-то в философию меня потянуло. К добру ли? Как бы не свихнуться от этого... А вот почему потянуло? Может, от одиночества?

Ладно. Хватит! Пора делом заняться. Дело! Нужное тебе дело — вот основная философия!

Пишу вечером этого же дня...

Написал утром в дневнике то, что хотел...

Вышел из избы и обомлел. Снова все вокруг в инее. Лес, видимо, изрядно напуганный холодом, присмирел, как мальчишка под строгим взглядом отца. Тишина стояла необыкновенная.

Прежде чем пойти в лес, натаскал дров в избу и баню. Принес воды.

В лес пошел, когда начало пригревать. Альму не взял. Закрыл в сарайке. Что-то прихрамывать стала. Иней почти на глазах таял, и все вокруг наполнялось беспрерывным шорохом и треском — это срывались с веток отяжелевшие листья.

Шел знакомой тропинкой — темной, скользкой от растаявшего инея. Уже подходил к Быстрому ручью, как впереди прозвучал глухой выстрел — первый выстрел, услышанный мной за все прожитое здесь время. Немного погода — другой. Я замер, потом — бегом на звук. Пробежал немного — третий выстрел, но уже ближе, громче. Я перешел на шаг и вскоре на небольшой поляне увидел высокого мужчину в сапогах, болоньевой куртке, надетой на глаза кепке. Он стоял боком ко мне и неторопливо заряжал ружье. Никак мой новый знакомый Валентин?

— Эй! Дядя! — с какой-то непривычной для меня робостью окликнул я его. — Ты что здесь делаешь?

Меня удивило то, что он не вздрогнул, не отпрянул, а медленно, даже с какой-то ленцой посмотрел в мою сторону, уронил:

— Стреляю.

— Охота запрещена! — громко и зло сказал я.

— Извини, Денис! — мягко проговорил он, поворачиваясь ко мне. — Да и не охочусь я, а так... Ружье, понимаешь, приобрел, а где опробовать? — Он пожал плечами: — В городе, сам понимаешь... — Развел руками.

— Ходить с ружьем по лесу тоже запрещено, — пробормотал я.

— Извини.

Я переступил с ноги на ногу, не зная, что сказать. Впервые в жизни у меня просили извинения. Обычно просил я.

— Вот и договорились! — Он улыбнулся, махнул рукой и неторопливо зашагал в глубину леса. Через несколько шагов остановился, спросил: — Собаку достал?

— Достал, — буркнул я.

— Да? Ну ладно! А я тут присмотрел одного щенка... Бывай!

Я смотрел ему вслед, пока он не скрылся, и ощущал за собой какую-то вину... Непонятную вину перед кем-то...

4 октября. Поздний вечер

Проснулся сегодня с гадким настроением. Еще там, во сне, я его ощущал: ползало по мне этакой жижей! Липкой, грязной...

Если б у меня был дневник, состоящий только из первых мыслей, что приходят ко мне в голову, когда я просыпаюсь, то больше половины дневника составляла бы одна фраза: «Какой он будет — день сегодняшний? Что он мне принесет?» Именно эта мысль пришла ко мне, когда я сегодня проснулся.

Вспомнил вчерашнюю встречу с мужиком, его «извините». По закону я должен был составить акт, но — «извините»... Как-то не уживаются порядок и слово. Мелькнула мысль, что, может, это и есть тот «тертый», о котором меня предупреждал главный лесничий. Но я сразу же эту мысль отбросил. «Тертый» — он и есть тертый! Стал бы он приходить и спрашивать деда Матвея, да и с ружьем вот так открыто... Ладно, со временем разберусь. Главное — я его в лицо знаю. Знаю и как зовут: Валентин.

Пригляделся — изба наполнена каким-то удивительно белым знобким светом. Встал, посмотрел в окно. Снег! Кругом белым-бело. Сунул босые но-

ги в сапоги и, как был, в трусах, майке, — на крыльцо. Холод стиснул меня, но не грубо, а мягко.

Тропинки, что вела от крыльца к лесу, не видать. Опавших листьев — тоже. Небо серое, низкое.

Вернулся в избу, оделся — и, как всегда, на озеро.

След моих шагов на снегу четок. Альма — за мной. Завыписывала вокруг меня шальные круги, затыкалась носом в снег. Озеро угрюмое, в белой окантовке. Вода у берега вперемишку со снегом — темное, неприятное месиво.

Возвращаясь в избу, заметил на гроздьях рябины белые пушистые козырьки. Контраст цветов — ослепительно белого и ярко-красного — показался мне настолько свежим и ярким, что я невольно задержался у нарядного деревца.

Позавтракав, я мыл посуду в тазу, когда на крыльце послышались шаги, затем раздался негромкий стук в дверь. Открываю — передо мной Наташа! Я, честно признаться, чуть не захлебнулся от неожиданной радости.

— Здравствуй, Денис! — сказала она и улыбнулась. — Не ждал? Лицо у нее было розовое, на щеках ямочки.

— Нет, — честно признался я. — Ты же мне не говорила, когда приедешь.

Из горницы выбежала Альма. Ткнулась ей в ноги, завиляла хвостом.

— Застыла? — спросил я.

— Чутьочку! — Она снова улыбнулась.

Наташа провела у меня целый день. Проводил ее, когда стало темнеть. И там, у дороги, мы впервые поцеловались. Она спрятала лицо на моей груди и долго стояла так, а я гладил ее по волосам и что-то говорил, говорил... А вот что именно, хоть убей, не помню...

Вернулся вот, сижу, пишу. Кругом тишина. У ног вертится Альма. Заглядывает в глаза, словно о чем-то хочет спросить, поскуливает.

17 октября. Вечер

Ездил в город. Отвез родителям ягод, грибов. Побегал по магазинам — накупил продуктов. Зашел в магазин «Школьник», чтобы купить пасту для ручки. Случайно увидел прејскурант на знамена. Сначала не поверил... Пионерское знамя стоит двадцать пять рублей, комсомольское — сорок семь. Интересно, а сколько стоит знамя республики, Родины?!

Что происходит?! Молоденькая продавщица со мной и разговаривать не захотела. Мимоходом объяснила, что стоимость знамени зависит от материала, из которого оно сшито. А ведь она комсомолка. Значок на груди.

Люди во время войны знамя на груди носили, спасали... Дивизию за потерю знамени расформировывали, а тут...

Пришел домой, рассказал об этом отцу. Он аж побелел. Выслушал, оделся и ушел.

А я после маминого вкусного обеда отправился в лесничество. Получил обещанную премию, поговорил с главным лесничим, но о своей встрече в лесу промолчал. Зачем на человека зря напраслину наводить? Мало ли что в жизни бывает? Да ведь он и извинился.

Из лесничества пошел в райком комсомола. Первым секретарем теперь другой парень. Встретил меня как равного. Поговорили по душам. Он ему тоже о ценах на знамена рассказал. Он кулак на стол положил, сказал просто и весомо: «Разберемся». Встал на учет (в лесничестве только я один комсомолец — узнавал). Заплатил членские

взносы. Когда вышел из райкома, с души будто груз свалился. Легко и светло стало.

Библиотека была еще закрыта. Зашел в кафе-мороженое. Сажу за дальним столиком, ем из вазочки мороженое с сиропом и смотрю в окно на людей, на машины. Вдруг слышу знакомое:

— Здравствуй, Денис.

Оборачиваюсь. У столика с вазочкой в руке стоит мой лесной знакомец. Стоит и смотрит на меня с высоты своего роста.

— Здравствуйте, — ответил я.

— Извини, — проговорил он, садясь напротив. — Собаки я тебе так и не нашел. Вина не моя. Обещал один фрукт, да надул. Но я человек слова! А ты чего в городе? — Он посмотрел на меня.

— Да, так... — Я пожал плечами. — Продукты купить да...

— Понятно, — перебил он. — Грибов-то насобирал?

— Насобираю.

— Еще бы не насобирать, — улыбнулся он. — Сидеть у огня да не погреть руки...

— Не понял? — Я посмотрел на него.

— Ну как же! — Он тоже пожал плечами. — Быть лесником — да покупать грибы, ягоды в магазине?

Он ел медленно. Я несколько раз ловил на себе его взгляд. Станный взгляд. На меня еще никто никогда так не смотрел — изучающе, что ли...

Из кафе вышли вместе.

— Слушай, — неожиданно предложил он, когда мы сошли с крыльца, — может, ко мне зайдешь? — Но тут же неожиданно спохватился: — Впрочем, извини, времени в обрез. Ты в городе в следующий раз когда будешь?

— Понятия не имею...

— Собачонка-то твоя как, гавкает? — спросил он и широко улыбнулся.

— Гавкает...

Он переступил с ноги на ногу, протянул руку:

— Ну, до встречи, лесничок!

— До свидания, — сказал я.

Ладонь у него твердая, цепкая.

Прежде чем повернуть за угол здания, я оглянулся. Он смотрел мне вслед. Смотрел пристально, потирая ладонью подбородок.

Мне стало не по себе. Чего это он?

Зашел в библиотеку. Наташа отпросилась с работы, и мы целый день провели вместе: ходили в кино, бродили по городу, сидели в парке.

Уехал ближе к вечеру...

22 октября

Альма растет не по дням, а по часам и большую часть времени проводит во дворе. Где носится — одному богу известно. Отощала вконец. Прибежит, опустошит миску — и снова во двор. Лает звонко, с каким-то вызовом. Морда умная, а смотрит так, словно хочет что-то сказать, да не может.

Все чаще вспоминаю Наташу. Вспомню, и чувство одиночества охватывает меня еще сильнее. Люблю я ее, что ли? В который раз уже задаю себе этот вопрос...

Поймал себя на том, что невольно ожидаю звука выстрела в лесу, как наказания за что-то...

Хороших холодов еще нет. Хотя снег лежит. Упрямо лежит. Деревья скинули листву, и теперь лес просматривается далеко-далеко.

Ездил в город. Случайно или нет, но снова видел Валентина. Встретились взглядами. Он широко

ко улыбнулся, приветственно махнул рукой и показал на часы — дескать, спешу...

Мама призналась, что копит деньги на свадьбу. Шутливо спросила, не поругался ли я с девушкой. Сказал, что не ругался, а целовался. Отец подмигнул мне, заметил:

— Это никогда не мешает, но в меру. Поцелуй, он... — И поднял вверх палец.

— Что-о?! — протянула мама.

Отец махнул рукой и ушел, обронив:

— На эту тему в присутствии женщин не разговаривают!

Видел участкового. Ходит словно журавль. На нем уже погоны старшего сержанта. Господи! Что с людьми ощущение власти делает!

Заходил в библиотеку. Наташа встретила меня радостно. Поговорили. Тайком поцеловались за стеллажами с книгами...

Заглянул на этот раз и к Генке. Его дома не было. Жена встретила меня настороженно, словно я пришел предложить ему невесту какое богопротивное дело. Махнул рукой и ушел.

Вот, пожалуй, и все.

3 ноября

Несколько дней назад стало удивительно тепло. Снег сошел ручейками. А позавчера снова ударил мороз. Затем пошел снег, но падал уже на промерзшую землю, и, верно, теперь будет лежать до самой весны. В природе, как и в человеческой жизни, ничто не делается без крепкого фундамента. И это очень даже хорошо. На плавуне ни черта, кроме кочки, не построишь.

С Альмой мы большие друзья. Вот сейчас сижу, пишу, а она лежит недалеко от меня, у порога, смотрит не спуская глаз и вздыхает.

Недавно вернулся из леса. Разводил костерок у Бойкого ручья. Сидел, смотрел на пламя. Ночь холодна, но у костерка тепло.

Самое удивительное — это лесные звуки ночью. Даже скрип сухары приобретает какое-то иное звучание. Слушаешь настороженно. Прошуршит и затихнет запоздалый лист, а кажется, что кто-то бродит, осторожно ступая по земле. И лезут, лезут — хочешь ты этого или нет — в голову сказки о страшных чудовищах, о Змее Горыныче.

Но чаще всего думаю о Наташе. Мысли хорошие, планы наполеоновские.

Скоро праздник. Поеду в город, приглашу Наташу к себе домой. Пускай познакомится с моими родителями.

9 ноября. Утро

Только что вернулся из города — и сразу за дневник. Изба выстужена. Альмы нет. Уехал в город без нее. Оставил. Бежала за машиной долго. Потом отстала. На душе муторно было, да что поделаешь? Где она носится? Сразу растопил печку. Сейчас она с удовольствием ест дрова. Несколько раз выходил на крыльцо. Звал Альму. Странно слышать свой голос, возвращенный эхом.

Праздники прошли хорошо. Познакомил Наташу со своими родителями. Они, как мне кажется, друг другу понравились. И я рад.

Знакомых ребят никого не видел. Правда, встретил Генку, но он, судя по разговору, по поведению, уже «ушел» от меня, холостяка.

Странно, но не впервые замечаю, что друзья, женившись, отдаляются. У них появляются свои интересы, свои заботы. Грустно, но это так. И тут уж ничего не поделаешь.

Подошел сегодня к деревне, и как-то по-особому отчетливо бросились в глаза покинутые избы. Словно кто теркой по сердцу провел. Может, потому такое новое видение, что вернулся с праздника, где было весело,людно, где было много красок, а здесь, на чистоте снега, эта покорная дряхлость... А ведь здесь когда-то праздновали дни рождения детей, Новый год, когда-то эти дома были наполнены теплом. Но люди бросили их, верно, отыскав другие стены, где тепло держится лучше. Зачем же в таком случае строить, чтобы потом оставить? Что-то вроде перевалочной базы получается...

Не могут решить для себя: обязательно ли надо признаваться в любви? Или можно жить с человеком без признания? Ведь слова признания ничего не дают — это же не клей, который сможет раз и навсегда соединить две судьбы, две жизни. Да и брак — тоже. Конечно, для закона — чтоб было юридическое основание подать на алименты, разделить имущество — он имеет значение. Ну выбрал ты себе спутника жизни, так и живи с ним. Зачем об этом кричать на весь белый свет?!

Расставаясь, договорился с Наташей, что приедет в город через неделю.

Заходил в лесничество. Мною довольны. Главный лесничий спрашивал, не слышал ли я выстрелов, не встречал ли кого. Сказал, что нет. А если что — сам разберусь. С человеком же в конце-то концов встречусь, хоть и в лесу. Поймет. Не дурак же. Главный лесничий усмехнулся, покачал головой, горько уронил:

— Если б так... — Вдохнул. — Деревья в лесу бывают высокие и низкие, а люди тоже — плохие и хорошие... — И строго: — Никакой отсебятины. Первым делом — дай знать, а там принимай меры.

— Понял!

— Вот и хорошо. — Он улыбнулся.

Хорошо жить, когда все хорошо. Истину мудрец сказал: «Как ты захочешь». Я хочу пока совсем немногого: смотреть внимательней вокруг, пытаться понять то, чего раньше не мог, вмешиваться в то, что не по душе, отстаивать то, что дорого, — и все. И, думаю, жизнь станет другой. Не однообразной, бесцветной, а наполнится такими сочными красками... Ладно. Пора спать. Еще раз позову Альму — и на боковую.

10 ноября. Ночь

Альма так и не прибежала. Вчера вечером, прежде чем лечь спать, долго звал ее, но ответом было только эхо. Несколько раз просыпался — звал. А сегодня целый день проходил по лесу в ее поисках. Где она? Что с ней могло случиться? Может, так и бежала за машиной до самого города, а в городе то ли в руки собаколовов попала, то ли под машину.

И почему я не взял ее с собой? Ну что мне стоило?

Сижу вот сейчас один, и так тошно — слов нет...

За окном метет, лес качается тяжело. Небо — как кулак. Озеро мрачное.

Ко всем прочим неприятностям сломался будильник. Тикал, тикал и вдруг замолчал. Стоит на столе этакой железякой с цифрами. А все потому, что...

13 ноября. Полдень

На улице много солнца, снега, глубоких, причудливо переплетенных теней. Небо голубое. Лес рябой: зеленое с белым. Все исполнено спокойной красоты. Это сегодня, а вчера-а!

Вчера природа куролесила. Метель была жуткая. Лес аж постанывал, сдерживая ее яростные напоры. В окна пригоршни снега так и летели.

Тропинки, что вела к лесу, сегодня нет — ровная белизна. Вот поем — и на лыжи. Спасибо, дед Матвей оставил по наследству. Они короткие и широкие. Ходить на таких мне еще не доводилось.

А щенка так и нет...

Этот же день. Вечер

Был в лесу. Ходил недалеко. Быстро устали ноги от тяжелых лыж. Ничего, понемногу привыкну. Лес красив. Но красив какой-то суровой красотой и сдержанностью, что-ли. Кажется, теперь он не любит, чтоб его беспокоили. Тронешь невзначай ствол какой-нибудь тоненькой елки, а на тебя сверху охапка снега — шлеп! И мириады разноцветных искорок — для глаз красиво, а для тела холодно. Вот это сочетание красивого и неприятного веселит.

Вернулся в избу, разжег примус. Слышу шаги. Неторопливые. Затем стук в дверь. Тяжелый, размеренный. Открываю. На пороге Валентин. Лицо в капельках пота.

Я от удивления аж назад отступил.

— Не ждал? — спросил он, улыбаясь.

— Не ждал, — сказал я.

— Званный гость хорош, говорят, — обронил он, переступая порог, — а незванный лучше... Не прогонись?

— Проходите, — пробормотал я.

— А я вот сидел дома, сидел — надоело, — продолжал он, снимая утепленные сапоги и куртку. — Дай, думаю, своего знакомого лесничка навещу. Как, думаю, он там живет-может... Чайком угостишь?

— Угощу, — ответил я, глядя, как он вытаскивает и ставит на стол из принесенной с собой сумки бутылку вина, колбасу.

— Вот и прекрасно!

Он выложил все на стол, сел на стул и устало вытянул ноги. Я заварил чай, достал и поставил на стол кружки, хлеб, масло, сахар и сел напротив.

— Хорошо у тебя, — уронил он, оглядывая избу. — Тихо... А в городе, — поморщился, — суета сует... Вот уж что мне больше всего не нравится в городе, так это люди. Среди людей скучно... А здесь... — Он глубоко вздохнул, спросил: — А сабака твоя где?

— Пропала, — сухо ответил, я глядя в окно.

— Как это пропала? — удивился он. — Волки сожрали, что ли?

Я пожал плечами.

— Ладно. Не горюй! — Он махнул рукой. — Я тебе другую достану. Я человек слова! — Усмехнулся, добавил: — Уж что-что, а обещанное я всегда выполняю, чего бы мне это ни стоило! — И снова усмехнулся. Усмехнулся жестко. Так, что мне невольное стало как-то не по себе.

От вина я отказался. К моему удивлению, он не настаивал.

— Дело житейское, а я вот выпью... от такой жизни... Жизнь, понимаешь, не круглая... Топорщится разными ограничениями, как еж иголками. А, впрочем, так даже интересней... Исподлобья посмотрел на меня, спросил: — Верно?

Я пожал плечами, буркнул:

— Не задумывался.

— А зря! — веско произнес он, наполняя второй стакан и поднося его ко рту. — Зря! — Проглотил налитое, добавил: — Жизнь — она штука хитрая, она по Дарвину живет... естественным отбо-

ром, то есть побеждает сильный. Сильный характером, поставленной целью.

— По правде жить надо, — сказал я.

— По правде? — переспросил он и посмотрел на меня как на пришельца с того света. — По правде! — Хмыкнул, откинулся на спинку стула, спросил насмешливо: — А ты хоть знаешь, что такое правда? Та самая, о которой то и дело пишут, которой от других требуют, к которой зывают? — Он, щурясь, посмотрел на меня.

— Знаю, — резко ответил я.

— Ну-у? — Он развел руками. — Тогда тебе надо еще при жизни памятник поставить, да не один, а в каждом населенном пункте...

Я промолчал.

Мой собеседник побарабанил пальцами по краю стола, снисходительно заговорил:

— Правда, мой дорогой Денис, есть грань между добром и злом. Это, насколько я знаю, единственная аксиома нравственности, духовности ну и, конечно же, педагогики. Истину эту, — он глубоко и нарочито вздохнул, — нельзя, даже невозможно ни доказать, ни опровергнуть. Вот ты, к примеру — добро, а я... — он постучал пальцем в грудь, — зло. А где правда? — Он хохотнул. — А правда где-то между нами... Взять хотя бы ту нашу встречу в лесу... — Гость достал из кармана сигареты, закурил, покусал губы: — И вот еще что. Может, тебе в жизни пригодится. Учти и запомни, как «Отче наш»: когда человек прав — его все ненавидят. Ошибки примиряют его с обществом. Ну а если будешь каяться, да почаще — тут уж будут любить... Вишь, какая фисгармония получается?

— Вы за этим и пришли сюда? — хмуро спросил я, глядя в окно на искрящийся снег.

— Вот видишь... — протянул он. — Я тебе ска-

зал правду, а ты уже сердишься... Наглядный, так сказать, пример. А пришел я к тебе совсем не за этим. Пришел просто так. Понравился ты мне, а вот чем... — пожал плечами, — и сам понять не могу да и, честно признаться, не хочу. Не веришь?

— Ну почему же? Верю, — пробормотал я.

— Я рад, — сказал он, улыбнулся широко, спросил: — Еще чайку можно?

— А кем вы работаете, Валентин? — Я посмотрел на него внимательно.

— Кем работаю? — Он, как мне показалось, насторожился. — Мастером на строительстве. Дома строю. А что?

— Да так... — Я пожал плечами. — Спросил просто.

Чай пили молча. Он о чем-то сосредоточенно думал. На лице его временами появлялась усмешка.

«Жалко, — мелькнула у меня мысль, — что когда человек думает, его нельзя услышать».

— В город когда собираешься? — неожиданно спросил он, — ставя кружку на стол.

— Числа семнадцатого, восемнадцатого.

— Я думал, что ты со мной сейчас, так сказать за компанию, пойдешь. — Он тяжело поднялся. — Одному, знаешь ли... да по такому снегу... Ну да ладно...

Он натянул сапоги, надел куртку.

— До встречи, Денис! Вот поговорил с тобой, и, знаешь, как-то легче стало... — Хлопнул ладонью по плечу, улыбнулся, добавил: — Хороший ты парень!

В ответ я пробормотал что-то маловразумительное.

— А собаку я тебе достану, — еще раз пообещал мой визитер, спускаясь с крыльца. — Не ру-

чаюсь, что отличной породы, но хорошую! — Подмигнул и неторопливо зашагал по своим следам в сторону центральной дороги.

Когда он скрылся среди деревьев, я вернулся в избу, рухнул на кровать и долго лежал, думая об услышанном. Как ни странно, но мне нечего было возразить ему. Все, что он говорил, было житейски верно, но в то же время во всем этом было что-то не так... Но вот что именно? Вызывал недоумение и его неожиданный приход ко мне — после попутки по глубокому снегу...

Так и не разобравшись в мотивах его поступков, я взял лыжи и пошел в лес.

16 ноября

Пришел из бани. Попарился от души. Правда, веселости маловато — по-прежнему один. Усталость прошла, словно и не было совсем ее.

Все эти дни с утра до позднего вечера как заводной обходил свой участок. Был в самых затаенных уголках, но следов человека не видел.

Встретил волка. Он выбежал из-за кустов, встал как вкопанный и смотрит. Ну и взгляд у него! Прямой, пронзительный — кажется, что насквозь тебя прокалывает. Башка здоровая. Я тихонечко, не сводя с него глаз, — ружье с плеча. Он постоял, повернулся и затрусил в чащу, не оборачиваясь. А я еще долго стоял не шевелясь... Что если б их штуки три выскочили, да голодных? Одного я б, пожалуй, свалил, а дальше? Дальше пришлось бы заказывать по мне поминки...

Дома отпарил брюки, выгладил рубашку. Завтра поеду в город к своей Наташе! Странно, но о ней я думаю чаще, чем о маме... Почему так?

Сколько этих «почему»! От двух до пяти детей называют почемучками. А разве мы, взрослые, да-

леко от них ушли? Мы точно такие же. Даже вопросов у нас больше. Просто мы редко задаем их вслух, а стараемся решить сами и молча. Боясь выглядеть безграмотными...

18 ноября

Вчера в город не поехал. Что-то настроение пропало. Пошел в лес. Просто так. Дошел до Бойкого ручья, повернул к болоту. Вдруг слышу выстрел. Звонкий, яростный. Я — туда. На лыжах я ходоком не ахти, особенно на таких, пока бежал — раз десять упал. У самого подхода к болоту снова выстрел! Подхожу. На небольшой поляне стоит он. Ружье в руках

Моему появлению ничуть не удивился, словно ждал его.

— А-а, это ты, Денис! — проговорил дружелюбно. — Здравствуй!

Меня аж перекосило от его наглости.

— Охота запрещена! — зло проговорил я.

— А я и не охочусь, — спокойно заявил он, положив ствол ружья на сгиб локтя. — Это я так. Надо же ружье опробовать. Верно?

— Вы в тот раз его опробовали!

— Ну и что? — Он пожал плечами, усмехнулся, спросил: — Ты, верно, будешь требовать охотничий билет, разрешение... Так я тебя сразу предупреждаю: нет их у меня. А ружье... — Улыбнулся: — Для самозащиты... Вдруг на меня какой-нибудь шатун набредет.

— Я боюсь, как бы вы на него не набрели, — процедил я.

— Даже так... — Он сплюнул в снег. — Я вижу, мой разговор там, — кивнул в сторону деревни, — тебя ничему не научил, ты ничего не понял! А жаль...

— Буду акт писать, — сказала я.

— Валяй, — равнодушно бросил он. — Хоть три... Да только зря... Ни имени моего настоящего, ни фамилии ты не знаешь. Впрочем, что тебе объяснять? А если пойдешь жаловаться в лесничество... Не советую! Я человек в этих делах тертый. Слова к делу не пришьешь! Вот ты поймай меня на месте, так сказать, тогда другой разговор! А так... — Он снова сплюнул в снег. Взглянул на меня, уронил: — Может, я и стрелял для того, чтобы увидеть, узнать, как ты... А напоследок скажу, что ты дурак! Слушай! А может, договоримся? Ты да я в лесу — сила! В прогаре никто не останется... Твое дело молчать, мое... А правда — посередине. Нет?! Дело твое, но язык держи за зубами! Лес, он тайны хранить умеет... — Повернулся и пошел.

А я стоял и смотрел ему вслед, чуть не плача от полного бессилия. Стрелять не будешь, силой тоже куда следует не доставишь, злого умысла не доказать... Впервые мне лес не помог, предоставив нам, людям, самим решать свои вопросы.

Назад плелся как оплеванный... И злился, злился...

Ну ничего... Посмотрим..

23 ноября

Неделю изо дня в день, с утра до позднего вечера, ходил по лесу в надежде встретить его, но так и не встретил. А лес молчал.

Вчера поехал в город и вернулся только сегодня утром.

Подвез меня частник. Голосовал я безо всякой надежды: не было еще случая, чтоб частник оставился. А тут — на тебе! Оказывается, по его словам, у него сегодня клубничное настроение. Он так и сказал: клубничное! Ехал он в гости, к внуку, которому вчера исполнилось три недели.

— Внук! — радостно восклицал он несколько раз. — Наконец-то! А то все девчонки да девчонки. Еще немного — и стал бы соломенным дедушкой!

Объяснил, что соломенными дедушками называют тех дедов, у которых одни внуки и нет продолжения его, дедовой, фамилии.

Ехали — луна то с одной стороны дороги, то с другой. Легкий морозец. Рядом счастливый человек. Хорошо!

Шел по тропинке и думал о нашей встрече с Наташей. Я не стал ей объясняться в любви. Просто, когда мы сидели в моей комнате, сказал: «Наташа, давай жить вместе!»

Она посмотрела на меня. Долго смотрела, а потом так же просто ответила: «Давай».

Я встал, прошел к маме и сказал, что мы с Наташей решили пожениться. Мама села на стул, уронила руки на колени и, наверное, как и все мамы на свете, заплакала. Отец посмотрел на меня, буркнул:

— Давно пора! А то тянете, тянете. Женитьба — она вещь нужная. Свадьбу-то когда справлять будем?

Я остался с отцом, а мама пошла к Наташе. О чем они там говорили, мне неизвестно.

Отец, когда мама ушла, сказал:

— Вырос-таки наконец...

Наташа пробыла у нас недолго. Я проводил ее до дому.

Вот пока и все. Сейчас пойду в лес. Как он тут без меня жил? Вечером допишу.

На этом записи кончаются.

От матери Дениса я узнал, что его нашли в лесу среди густого ельника, у болота, и что убит он был выстрелом в спину...

СОДЕРЖАНИЕ

Рассказы

РАЗНЫЕ ЛЮДИ	3
ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ	29
СМОРЧОК	32
РАЗ ЖИВЕМ	37
ДЕНЬГИ	44
ПЛЕЧО МУЖЧИНЫ	50
ОБЛАКА	74
КАК УМИРАЛ СОЛДАТ	83
ГЕРАКЛ	95
НА ДАЛЬНЕЙ СТАНЦИИ	123
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ	138
ПРОТАЛИНКА	163
ПРОЩАНИЕ С ЗИМОЙ	165
КАК ТЫ ЗАХОЧЕШЬ. Повесть	175

Литературно-художественное издание

Кравченко Борис Евгеньевич

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Рассказы, повесть

Редактор Ю. В. Слюсарева

Художник А. И. Морозов

Художественный редактор Л. Н. Дегтярев

Технический редактор Г. А. Калинова

Корректор В. Н. Григорьева

ИБ № 1929

Сдано в набор 14.06.89. Подписано в печать 25.08.89. Е-01681. Формат 70×100^{1/32}. Бумага типогр. № 1. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 10,4. Усл. кр.-отт. 10,73. Уч.-изд. л. 10,79. Тираж 10000 экз. Зак. 2095. Изд. № 73. Цена 90 к. Издательство «Карелия». 185610, Петрозаводск, пл. В. И. Ленина, 1. Республиканская ордена «Знак Почета» типография им. П. Ф. Анохина Государственного комитета Карельской АССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 185630, Петрозаводск, ул. «Правды», 4.